

Варя. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://chukovskiynikolai.ru/> приятного чтения!

Варя. Николай Корнеевич Чуковский

1

Моя начальница Варя Барс стояла перед зеркалом на пуантах. В темном, как омут, стекле она отражалась во весь рост: серые глаза, полные губы, круглое личико, обнаженные, совсем еще детские руки, белая кофточка, темная юбка и прямые легкие ноги в серых чулках. Она мечтала о балетных туфлях, но их не было, и упражнялась она совсем без туфель. Стоя на одной ноге, на носке, она подымала другую ногу, вытягивала ее перед собой параллельно полу и кружилась. При каждой остановке тяжелая светло-каштановая коса ее перелетала со спины на грудь; но привычным движением плеча она перебрасывала ее назад, на спину.

Кроме Вари в зеркале отражались тяжелые груды книг. Они смутно громоздились одна над другой, поблескивая в сумраке золотым тиснением корешков. Книги лежали на полу, на столах, на всех подоконниках, затемняя окна, и без того мутные, так как их не мыли и не отворяли в течение двух лет. Эти книги привезли сюда, в библиотеку Дома просвещения, из здания Пажеского корпуса и свалили как попало на пол. Прошлым летом в здании Пажеского корпуса подняли мятеж левые эсеры; после подавления мятежа в здании начался пожар, книги покоробились от воды и жара. Теперь их привезли к нам, и мы с Варей должны были их разобрать. Варя была заведующей библиотекой, а я – ее единственным подчиненным. Мы с самого начала были с ней на «ты», но это вовсе не свидетельствовало о нашем равенстве. Напротив, мы совсем не были равны: она первенствовала и главенствовала, а я подчинялся. И не потому, что она была заведующей. А потому, что мне было всего пятнадцать лет, а ей уже семнадцать.

Я был значительно выше ее ростом и гораздо сильнее, но тем не менее она еле до меня снисходила. Всю умственную работу вела она – сортировала книги и записывала их в толстую бухгалтерскую тетрадь. Мне же она поручала только дела, требовавшие грубой физической силы, – я переносил кипы книг с места на место. Впрочем, нас никто не торопил, работой нашей никто не интересовался, начальство к нам никогда не заглядывало, и мы, предоставленные самим себе, не слишком себя утруждали.

Два раза в неделю Варя посещала по вечерам хореографический кружок здесь же, в Доме просвещения. Кружком этим руководила старая балерина Серафима Павловна Экк. По правде сказать, никто в точности не знал, была ли она когда-нибудь действительно балериной. Я помню отцветшую женщину с длинным желтым лицом, со впалой грудью и такую сухую и жилистую, словно вся она была сплетена из ремней. Танцующей я ее никогда не видел, так как хореографического кружка не посещал. Но Варя сразу же стала ее усерднейшей ученицей, восхищалась ею и твердо решила сделаться балериной.

Упражнялась Варя в служебные часы перед большим зеркалом, вделанным в дверь библиотечного зала. Кружилась и прыгала неутомимо. Серафима Павловна сказала своим ученицам, что каждая балерина должна развивать упражнениями мускулатуру ног, и Варя время от времени нагибалась, чтобы пощупать свои ноги и узнать, развилась ли на них мускулатура.

– У балерины должны быть железные ноги, – говорила она мне. – Спесивцева, например, – маленькая женщина, а могла бы убить ударом ноги быка. А ну, потрогай! Правда, стала крепче?

Она протягивала мне ногу с маленькой ступней, и я послушно сжимал двумя пальцами ее лодыжку в сером чулке.

2

Пятнадцать лет мне исполнилось в 1919 году.

Моя мать только что родила четвертого ребенка. Родителям моим было не до меня, старшего из четверых. Петроград голодал, отцу тяжело было кормить большую семью. И я всегда хотел есть. Ничем меня нельзя было насытить, я мог есть сколько угодно и что угодно. Я привык к этому состоянию и даже не верил, что можно быть сытым. Эта постоянная тоска по еде зависела, вероятно, и от возраста – я быстро рос в то время. Несмотря на недоедание, отличался я отменным здоровьем, никогда не болел и неожиданно оказался самым сильным в классе. Я гордился своей силой,

Варя. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru
за которую сверстники почитали меня.

Но зато наружность моя очень меня мучила. Я был дурно одет: носил стоптанные солдатские ботинки на два номера больше, чем следовало, и короткую курточку, из которой так вырос, что рукава едва закрывали локти. Впрочем, кругом все были одеты не лучше. Меня огорчала не одежда, а мое лицо, которое я считал заурядным и безобразным. С некоторого времени на нем появились прыщики, повергавшие меня в уныние. Особенно много скапливалось их над бровями. Школьные остряки уверяли, что на лбу у меня всегда можно рассмотреть римскую цифру, указывающую, в каком классе я учусь.

Я поступил на работу в Дом просвещения поздней весной, когда окончились занятия в школе. Служащим Дома просвещения полагался дополнительный паек сверх того, что выдавалось по карточкам: полфунта хлеба два раза в неделю, немного крупы, рыбы. Это меня и прельстило. Крупы я относил домой, остальное съедал сам, тут же. Кто меня устроил туда, не помню, но Дом просвещения запомнился мне так, словно я был в нем вчера.

Он помещался в длинном четырехэтажном здании с угрюмым коричневым фасадом, выходящим на Мойку. До революции большая часть здания была занята банком, а в бельэтаже, за зеркальными стеклами, жили Алексеевы – сказочно богатые люди.

Дом просвещения занимал пока только квартиру Алексеевых, грандиозную и великолепную. Алексеевы год назад сбежали на юг, к белым, а Дом просвещения организовался всего за месяц до начала моей работы в нем, и вся алексеевская обстановка еще сохранилась полностью.

Квартира состояла из двадцати семи комнат и залов, не считая людских. Шесть гостиных, столовая, отделанная кленом, и столовая, отделанная резным дубом, концертный зал на триста мест, с эстрадой и роялем, фойе при нем, бильярдная, буфетная, три кабинета, шесть спален, две ванны комнаты – одна из них с бассейном – и много других, назначения которых я не знал. Гигантские люстры с множеством стеклянных подвесок, торшеры вышиной с дерева, мягкая мебель в чехлах, бесчисленные зеркала, хрустальные вазы вместимостью с бочку, ковры, гобелены, паркеты – в каждой комнате особого рисунка, потолки, расписанные ангелами, цветами, голыми наядами по синему, как синька, фону. И вся эта невысказанная роскошь, все эти двадцать семь комнат предназначались только для трех человек, так как Алексеевых было всего трое – отец, мать и сын-подросток. Узнал я об этом от Марии Васильевны, их старшей горничной, по-прежнему жившей в одной из людских комнат и зачисленной в штат Дома просвещения на должность уборщицы.

Это была сухая, высокая, крепкая старуха с узкими, поджатыми губами. Она никогда ничего не убирала и не подметала. Но я постоянно натывался на нее в самых разных концах Дома просвещения. На длинных ее ногах были мягкие войлочные туфли, и двигалась она бесшумно, как привидение. С утра до вечера обходила она все двадцать семь комнат. Она следила за всеми, не разжимая губ и никогда ни во что не вмешиваясь. Каждого посетителя провожала она долгим, внимательным взором. Там же, в людских, жили еще какие-то две женщины, совсем неприметные, и какой-то старичок с медными пуговицами на тужурке.

Штат Дома просвещения состоял из бухгалтерши – она же заведующая культмассовым отделом, руководителей кружков, появлявшихся преимущественно в дни выдачи дополнительного пайка, и нас с Варей. Впрочем, возможно, был и еще кто-нибудь, кого я запомнил. Был и заведующий Домом, но его я видел только в первые дни: где-то под Гдовом, под Ямбургом белые начали наступление, и наш заведующий, маленький, со светлыми перышками волос на лысеющей голове, внезапно ушел в армию. Белые шли на Петроград, и о Доме просвещения все позабыли. Он существовал по инерции, главным образом благодаря тому, что продолжали выдавать пайки.

Просторный зал с четырьмя большими окнами, где каждый день в послеобеденные часы работали мы с Варей, предназначался для библиотеки и при Алексеевых. Все четыре стены его от пола до потолка были уставлены полками для книг. В дверь было вставлено зеркало, отражавшее книжные полки. Была еще одна дверца, маленькая, в углу; на ней масляными красками изображены были книжные полки и корешки книг. Таким образом, если бы на всех полках стояли книги, зал приобрел бы вид большой коробки с книжными стенами. Однако этого замысла Алексеевым осуществить не удалось. У них были полки, но почти совсем не было книг.

Варя. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru

Книги появились здесь только с основания Дома просвещения. Десятки тысяч томов. Они в полном беспорядке были свалены груды на полу. Мы с Варей должны были разобрать их, занести в каталог и расставить.

Ни я, ни она не имели ни малейшего представления о библиотечном деле. Что такое каталог, мы, по правде сказать, не знали. Варя рассказывала мне про какие-то карточки, но для чего они нужны, она и сама не понимала, да и картотек у нас не было. Она записывала названия книг в гротеск, которые мы с некоторых пор стали таскать из помещения бывшего банка. Алфавита она не придерживалась, а отмечала книги по какой-то своей собственной системе, настолько сложной и неясной, что я никак не мог ее уразуметь. Писала Варя медленно, ровным, аккуратным почерком, склонив голову набок и высунув розовый кончик языка. Иностранные книги – а таких было много – она записывала особенно долго, вырисовывая каждую букву, так как прочесть их не умела. По полкам книги расставлял я, следуя ее указаниям. Немало времени отнимали у нас поиски недостающих томов разрозненных собраний сочинений. Варя влезала на самую вершину книжной груды, пахнувшей плесенью, гарью, клеем, старой типографской краской, и рылась там, расшвыривая книги. Обычно это кончалось тем, что она, раскрыв какую-нибудь книгу, начинала читать с середины и зачитывалась. Так сидела она наверху, поджав под себя ноги, выставив вперед круглые коленки, теребя пальцами кончик переброшенной на грудь косы и читая.

– Отстань! – говорила она мне, когда я ее о чем-нибудь спрашивал.

– Интересно?

– Очень. Вот потом сам прочтешь.

– Не собираюсь, – отвечал я. – Знаю я, про что ты читаешь.

– Про что?

– Про любовь.

Она бросала на меня пренебрежительный взгляд.

– Как будто ты понимаешь, что такое любовь! – говорила она с величайшим презрением.

– А ты понимаешь?

– Ну, я-то!.. – отвечала она надменно.

3

Ее странная фамилия – Барс – в те времена не казалась мне странной. В Петрограде было много людей с фамилиями, звучащими не по-русски, и я привык к ним. Население столицы разноплеменной империи складывалось из детей разных народов. В этот огромный русский город кроме русских в течение двухсот лет съезжались в поисках работы, торговой удачи, служебных успехов эстонцы, латыши, финны, шведы, поляки, татары, выходцы с Кавказа и Украины. Были и немцы – свои, прибалтийские, и дальние, из Германии. Были французы – потомки гувернеров, поваров, куаферов, портных и тех дворян-эмигрантов, которые когда-то бежали от якобинцев. Все они, из поколения в поколение, переваривались в общем котле большого города, теряли свои национальные приметы, смешивались, говорили только по-русски, и их уже нельзя было отличить от выходцев из центральных русских губерний. И в Варе Барс не было ничего нерусского, кроме фамилии.

Она постоянно помнила, что она старшая, однако, по правде сказать, разница в возрасте между нами иногда совсем терялась. По просторным пустынным комнатам Дома просвещения она, например, бегала вприпрыжку, чего я себе не позволял. А когда мы отправлялись с ней в долгие блуждания по бесконечным закоулкам бывшего банка, где она постоянно робела, я чувствовал себя даже старшим и оказывал ей покровительство.

В семнадцатом году город был переполнен людьми до предела, но два года спустя, к девятнадцатому, он опустел. Люди состоятельные, населявшие центральные улицы, бежали к белым. Уезжали рабочие: заводы стояли из-за отсутствия топлива, а фронты гражданской войны требовали все новых и новых бойцов. Семьи тех рабочих, которые еще не потеряли связей с деревней, уезжали, гонимые голодом, к родным.

Варя. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru
Уже были не только квартиры, но даже целые дома, в которых не жило ни одного человека. Громадные этажи торговых контор, акционерных обществ, банков, занимающих так много места в центре капиталистического города, стояли запертые и пустые, как соты брошенного улья.

Главный вход банка, огромный и пышный, был заперт. Мы с Варей проникли в банк нечаянно и совсем особым путем. Нас неожиданно привела туда та маленькая дверца в углу библиотеки, на которой, чтобы сделать ее неприметной, были намалеваны полки и книжные корешки.

Я обратил внимание на эту дверцу в первый же день своей работы в библиотеке. Но тогда я еще робел, чувствовал себя связанно и не посмел к ней прикоснуться. Дня через два я толкнул ее плечом, но она не поддавалась. Я догадался, что ее нужно открывать на себя, но дверной ручки у нее не было, и я не знал, как приняться за дело. К тому же я был убежден, что она заперта. Однако еще через день я засунул линейку в щель между дверцей и стеной, нажал, и дверца распахнулась.

Варя, внимательно следившая за моими действиями, первая заглянула в нее, но тотчас отпрянула. За раскрытой дверцей таилась густая тьма. Холодом веяло оттуда, сохранившимся холодом закрытого помещения, не отапливавшегося всю зиму.

Я неуверенно вошел во тьму, выставив вперед руки.

– Ну, как? Ну, что? – спрашивала Варя сзади.

Я сделал в темноте несколько шагов.

– Ступенька! Лестница! – сказал я. – Иди сюда!

Лестница, деревянная, узкая, вела вверх, и я, подымаясь со ступеньки на ступеньку, чувствовал, как она круто заворачивает, вертясь вокруг столба.

Варя осторожно углубилась во тьму и замерла у нижней ступеньки.

– Куда ты полез? Спускайся!

Я слышал внизу за собою ее встревоженное дыхание.

Но робость ее только подзадорила меня. Я лез все выше и выше, кружась, и ступеньки пели под моими ногами на разные голоса.

– Эй! – кричал я. – Лезь за мной!

– Ну, зачем?.. Ну, вернись!.. – доносился снизу голос Вари.

Однако и она уже поднималась по ступенькам. Тут я пребольно стукнулся головой о твердое и остановился. Деревянная крышка, прикрывавшая лестничный колодец сверху, преградила мне дорогу.

– Что с тобой? – спросила Варя сдавленным голосом, услышав стук. – Я говорила, что не нужно сюда забираться!..

Я уперся в крышку руками. Никакого результата. Я понатужился. Крышка чуть-чуть двинулась. Образовалась узкая щелка, в которую брызнул свет.

– Иди сюда! Помоги! – сказал я, задыхаясь.

– Брось!

Но я давил, и давил, изнемогая от усилий, и крышка подымалась все выше, и щель, в которую лился свет, становилась все шире. Там, на крышке, лежало что-то тяжелое, и это тяжелое, глухо шурша, сползло с нее, свалилось. Крышка откинулась внезапно, и свет показался мне таким ярким, что я зажмурился.

Я вылез наверх и огляделся, потирая ушибленное темя.

Пахло лаком, кожей. Исполинский письменный стол, чернильница вместимостью в полведра, кожаные кресла, огромные и тяжелые, как быки. Вот отчего с таким

Варя. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru
трудом откинулась крышка – сверху она была завалена грудой бланков и конторских книг. Этим беспорядочным бумажным хламом был заполнен весь угол комнаты. Теперь там, среди бумажных ворохов, чернело квадратное отверстие, из которого поднялось Варино лицо – испуганное, изумленное, восхищенное.

– Потайной ход! – прошептала она.

Действительно, оказалось, что квартира Алексеевых была соединена с банком потайным ходом! Оттого, что мы проникли в банк таким необычным путем, все, что мы увидели там, стало казаться нам необычным, полным тайны. Мы осторожно озирались, мы переговаривались вполголоса. Та большая комната, куда мы попали прежде всего, была кабинетом управляющего. От остального банковского помещения она была отделена полупрозрачной перегородкой из матового стекла. Все вещи в ней поражали своей величиной – стол, и шкафы, и кресла. Но громаднее всего был камин, в который свободно могла бы въехать карета. Закоптелая пасть камина была загромождена черными лепестками сгоревшей бумаги. Тут жгли документы перед бегством, документы, которые нужно было скрыть, уничтожить, утаить от революции, и этот след преступления еще сгущал тень таинственности, лежавшую здесь повсюду.

Из кабинета управляющего мы вышли на галерею операционного зала. Галерея обходила кругом все четыре стены, а сам операционный зал темнел внизу, как глубокая ложбина, полная сумрака, казавшегося жемчужным от тусклого блеска матовых стекол. Огромные часы на стене, видные со всех концов галереи и зала, неизменно показывали половину третьего.

Первое наше посещение банка было очень коротким, и мы скоро вернулись в библиотеку. Варя захватила несколько гроссбухов из огромного штабеля – для каталога. Очутившись снова в библиотеке, мы тщательно прикрыли дверцу. По безмолвному уговору решено было никому не рассказывать о нашем открытии. Это была наша общая тайна, очень сблизившая нас.

Потом мы множество раз бывали в банке. Ежедневная возня в библиотеке нам скоро надоедала, хотелось подвигаться, развлечься. Нас никто не контролировал, и некому было заметить наши отлучки. Мы открывали линейкой дверцу, подымались в темноте по скрипучей деревянной лесенке и оказывались в банке. С каждым разом мы углублялись в него все дальше и дальше. Мы открывали в нем все новые комнаты, коридоры, лестницы, переходили с этажа на этаж. Мы распаховали шкафы, выдвигали ящики письменных столов, рылись в бумагах, щелкали на счетах. Мы прижимали к ушам телефонные трубки, хотя отлично знали, что все банковские телефоны отключены от городской сети.

Они были отключены от городской сети, но стоило прижать трубку к уху, и слышался глухой гул, доносившийся как бы из безмерной дали и напоминавший шум моря. Не знаю, в чем здесь было дело, быть может, мы слышали шум собственной крови. Но в этом шуме нам порой чудились какие-то голоса, мужские и женские, смех, плач. Казалось, вот-вот еще одно напряжение внимания, еще одно усилие, и мы услышим слова. Точно какая-то жизнь, полная страстей, чуждая и зачарованная, хочет прорваться к нам сквозь телефонные трубки и не может. Как мы ни старались, нам ни разу не удавалось расслышать ни одного слова. Мне навсегда запомнилось Варино лицо с раскрытыми от внимания губами, склоненное набок и прижатое ухом к телефонной трубке.

Вообще, несмотря на то что в банке мы бывали множество раз, нам нередко становилось там жутковато.

Ни один звук не доносился сквозь двойные рамы, нас угнетала неправдоподобная, глухая тишина. Помню, мы однажды разрезвились – что случалось с нами нередко – и в одной из больших комнат катались с разбегу по паркету. Увлеченные, мы забыли обо всем, стучали, хохотали, перекликались во весь голос. И вдруг я заметил, что бегаю я один, а Варя стоит у двери и к чему-то прислушивается. Меня поразила бледность ее лица.

– Тихе! – прошептала она.

Я застыл на месте.

– Что там?

Варя. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru

– Слышишь?

Я прислушался. Но при всем старании не услышал ничего.

– Кто-то ходит, – сказала она.

– Глупости! Кто там может ходить?

Но она продолжала вслушиваться.

– Вот опять! Шаги!..

Я по-прежнему ничего не слышал, но заразился ее испугом, и мне тоже тишина стала казаться наполненной какими-то шагами и вздохами. Пугая друг друга своим страхом, мы примолкли и, не сговариваясь, пошли прочь. Она прижалась ко мне плечом, и мы шли все быстрее, шарахаясь от каждой открытой сбоку двери. Мы боялись оглянуться: казалось, что-то огромное и неведомое двигалось за нами. Мы успокоились только в библиотеке.

– Это мыши шуршали, – утверждал я.

Несколько дней после этого мы в банк не ходили. Но потом память об испуге потускнела, и наши путешествия возобновились.

Все эти брошенные этажи стали как бы нашей собственностью, казались нам особым нашим миром, в котором мы чувствовали себя привольно и независимо. Мало-помалу мы изучили их все, от чердака до подвала.

Позже всего мы проникли в подвал. Мы давно уже обнаружили в конце одного из нижних коридоров обитую железом тяжелую дверь, за которой находилась ведущая вниз лестница с холодными железными ступенями. По этой лестнице не скоро отважились мы спуститься: нас останавливала полная тьма, царившая внизу.

Окон подвал не имел, электрического света в тот год почти не бывало. Однако в одном из ящиков я однажды нашел огарок свечи; мне хотелось немедленно найти ему применение, и я вспомнил о подвале.

– Пойдешь? – спросил я Варю.

– И не подумаю. Что там может быть, кроме грязи?

Но когда я, неся трепещущий огонек в вытянутой руке, спустился ступенек на десять и остановился, я услышал за плечами ее дыхание.

Железная лестница круто заворачивала и шла дальше, вниз. Еще одна дверь, тоже железная. И какой толщины! И вся в замочных отверстиях разной формы; для того чтобы ее открыть, требовалась целая связка ключей. Но она была открыта. Беззвучно повернулась она на железных петлях, и мы вошли.

– Это кладовая, – сказала Варя. – Здесь хранились сокровища.

Робкий свет свечи прыгал по железным стенам. Длинный ряд металлических шкафов – сейфов – уходил вдоль стены в темноту. Сокровища! А вдруг здесь что-нибудь осталось? Находят же люди клады! Вдруг мы найдем что-нибудь удивительное, драгоценное?

Вот в этих железных ящиках миллионеры хранили свои богатства. Владыки разрушенного революцией мира. Заводчики, домовладельцы, дамы, ездившие в каретах. Мы с Варей отлично помнили и этих дам и эти кареты: все это было еще так недавно! Я подошел к ближнему сейфу. Нет, он не заперт, дверца легко открывается. Внутри – ничего. Мы шли от сейфа к сейфу. Некоторые были исковерканы, смяты; их, видимо, вскрывали с помощью автогена. И всюду внутри – пустота, даже бумажонки ни одной не завалилось. Куда же девались сокровища? Были ли они конфискованы советской властью, как полагалось по закону? Или владельцы банка выгребли все заранее и, убегая, увезли с собой?

– Здесь можно замуровать человека, – сказала Варя. – Поставить в этот шкаф и закрыть.

Огонек свечи отражался в ее зрачках. В этом окованном железом подвале ей представлялись какие-то чудовищные преступления. Да, действительно, сюда, в шкаф, можно поставить человека и закрыть.

– И крика никто не услышит, – продолжала она.

– Здесь можно из пушек палить, и никто не услышит, – сказал я.

В следующем сейфе я ожидал уже встретить не сокровище, а скелет. Воображение наше работало неудержимо. Самые невероятные предположения не казались нам необычайными. Всюду нам здесь мерещилось что-то жуткое, преступное. Каким удобным пристанищем мог бы служить для тайных дел этот пустой запертый банк!

– Ты знаешь Леву Кравца? – спросила меня Варя внезапно.

Я удивился, напряг память.

– Нет, такого не слышал. А кто он?

– Так. Человек.

– Отчего ты о нем вспомнила?

– Так. Ни от чего.

4

По вторникам и пятницам нам выдавали паек. Иногда в этот паек входила вобла. Это были дни ликований, сушеную воблу мы считали самым удивительным лакомством, существующим на свете. Подобно многим людям моего поколения, память о том, как она вкусна, я сохранил на всю жизнь. Спустя десятилетия я время от времени встречал ее в магазинах, заставлял снимать с протетой сквозь глаза веревки, чистил, съедал, вспоминая, и огорчался, что она так изменилась на вкус, что она уже не такая, какой была в моем детстве.

Мы с Варей ели воблу торжественно, почти ритуально. Получив по ломтю хлеба и по вобле, мы уходили в библиотеку, запирали дверь, расстилали газету. Держа воблу за хвост, мы долго колотили ею по мраморным подоконникам, чтобы она стала мягче. Потом отрывали ей голову. Чешую снимали от шеи к хвосту. И начинался пир. Засунув указательный палец в распоротое рыбье брюхо, извлекали икру и съедали. Затем принимались за спинку. Мы отдирали от хребта коричневые стружки сухого мяса и долго жевали их.

– Как шоколад! – говорила Варя, блестя белыми ровными зубками.

Не знаю, чем эти кусочки рыбы напоминали ей шоколад, – может быть, цветом. А может быть, тем, что восхищали ее, как когда-то в детстве восхищали шоколад, которого мы не ели уже несколько лет и о котором сохранилось воспоминание как о чем-то неслыханно вкусном... После спинки мы очищали от мяса хвост. Наконец оставались только косточки ребер, и мы обламывали их и долго обсасывали одну за другой.

После еды мы не сразу принимались за дело, а сидели и разговаривали. Мы с Варей, разумеется, и в другое время немало болтали, но все больше о пустяках, о том, что попадалось на глаза. А тут мы настраивались на важный и серьезный лад и говорили о важном и серьезном.

Мы были детьми революционных лет, и важным и серьезным была для нас революция. Обе революции – февральскую и Октябрьскую – мы видели собственными глазами. Мне не было полных тринадцати лет, когда толпы сбрасывали с чердаков городских, засевших там с пулеметами. Я все дни пропадал на бушующих улицах, бегал от митинга к митингу, шныряя среди взрослых, слушал всех ораторов, принимал участие во всех демонстрациях, шагая по мостовым рядом с красным знаменем. Я глазел на балтийские корабли, вошедшие в Неву в Октябрьские дни, чтобы помочь восставшим рабочим. Я ходил за красногвардейскими отрядами, занимавшими мосты, видел, как они прятались от юнкерских пуль за поленницами дров. Я прислушивался к стрельбе и бегал по подворотням, чтобы подобраться поближе к Дворцовой площади, когда брали Зимний. С тех пор прошло уже почти два года – гигантский срок в тогдашнем

Варя. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiy@nikolai.ru
моем возрасте! – но во мне, не тускнея, жила память о суровых днях революции как о чем-то праздничном, ослепляюще ярком. Вероятно, я многого тогда не понимал, но главное мне было совершенно ясно, и счастливое чувство великих надежд, воодушевлявшее миллионы, владело и мною.

У Вари Барс связь с революцией была крепче моей: ее покойный отец всю свою жизнь делал революцию. Но, по правде сказать, отца она почти не знала. В семнадцатом он вернулся из ссылки и чуть ли не сразу уехал в армию, куда-то под Ригу, а в восемнадцатом был убит при наступлении немцев на Псков. Однако Варя всегда упоминала о нем, как о продолжающем жить человеке: «папа считает», «папа думает» Матери у нее тоже не было, и жила она вдвоем с теткой, которая хорошо знала немецкий язык и до революции служила бонной в одном зажиточном семействе. Семейство это, подобно семейству Алексеевых, сбежало куда-то от советской власти, поручив охрану своей квартиры Вариней тете.

Со времени революции прошло уже почти два года, и город опустел, а те, кто остались в нем, тяжело голодали. И, не прекращаясь, шла война с белыми – и в Сибири, и на Урале, и на Дону, на Волге, на Украине, в Прибалтике, в Карелии. А теперь белые были совсем рядом, они захватили два городка Петроградской губернии – Гдов и Ямбург – и шли на Петроград.

– Тетя уверена, что они скоро будут здесь, – говорила мне Варя.

– Она, что ли, ждет их?

– Не знаю, ждет или не ждет, а просто уверена.

– Почему?

– Потому что наша жизнь ненормальная. Она говорит, что нельзя так жить, чтобы не было бедных и богатых, чтобы дома и заводы не имели хозяев. Этого не бывает, никогда не бывало и никогда не будет. Во всем мире люди делятся на богатых и бедных, и одни мы живем ненормально. А ненормальная жизнь не может долго тянуться, она непременно скоро кончится, и все станет, как всюду, нормально.

Такое мнение не было для меня новостью, я в те времена встречался с ним постоянно. Люди, прожившие всю свою жизнь в старом обществе, не верили, что какое-нибудь иное общественное устройство может существовать. «Так не бывает», – утверждали они, и этот довод казался им убедительнее любого другого. Россия первая вступила на новый путь, примеров не было, все, что совершалось, совершалось впервые, а как раз новизне они не умели и не хотели верить.

– Как жили, так и будут жить. Вот что говорит тетя.

– А ты как думаешь? – спрашивал я.

– Ну, я-то!..

Мы с Варей думали иначе. Наши жизни только начинались, старый общественный уклад не стал для нас привычкой; в сущности, мы даже мало его знали, и когда узнавали о нем что-нибудь, он поражал нас своей бессмыслицей. Мы любили то новое, что окружало нас, несмотря на всю его бедность, потому что это новое было нашим, было озарено нашими мечтами и надеждами.

– А, пусть их болтают! – говорила Варя презрительно. – Нечего их слушать.

Я был такого же мнения. Разумеется, белым Петроград не отдадут. Пускай у них английские танки и немецкие сапоги, пускай их солдаты получают по два фунта хлеба в день, а мы голодны, раздеты и разуты. Не может случиться, что все надежды такого множества людей будут обмануты разом. Не может этого быть! Но все-таки, а вдруг?..

– Никакого «вдруг» не будет, – говорила Варя уверенно. – Мы до этого не допустим.

– Кто «мы»? Ты да я?

– Есть люди и кроме нас с тобой.

Есть, конечно, такие люди. И не вроде нас, полудетей, а взрослые, мужественные, умеющие сражаться. Но беда была в том, что мы с Варей никого из таких людей не знали. Мы были заперты в своей библиотеке, заброшенной, забытой, никем не посещаемой, предоставленные самим себе, и не умели вырваться из своего одиночества.

Мы уже слышали о комсомоле. Но комсомол был где-то на заводах, мы точно не знали где, и слухи о нем доходили самые противоречивые.

– Туда с четырнадцати лет принимают, – рассказывал я Варе.

Это значило, что я вполне подойду по возрасту: ведь мне уже пятнадцать! А уж Варе подавно. Но Варя слушала с сомнением.

– Вам, мальчишкам, хорошо, вам всюду ладно. Тете рассказывали, что туда приличные девушки не идут, а одни неприличные.

– Какие неприличные?

– Ну, знаешь какие...

– Так, может, это врут.

– Может, врут. Но нам с тобой это безразлично. Нас с тобой все равно туда не приглашают.

И Варя убирала очистки от воблы, мимоходом заново обсасывая колючие косточки.

5

Не помню, когда я увидел Леву Кравеца в первый раз и с какого именно времени он стал появляться у нас в библиотеке. Приходил он в те дни, когда Серафима Павловна Эрк вела свой хореографический кружок, потому что занимался в этом кружке и, кажется, не только занимался, но был как бы помощником Серафимы Павловны и постоянным ее партнером по танцам. Впрочем, как он танцевал, я не видел, а внешность у него была такая, что никто не заподозрил бы в нем танцора.

Это был смуглый, черноглазый брюнет с сухощавым лицом. Ему исполнилось уже девятнадцать лет, так что он был не только недосыгаемо старше меня, но и на целых два года старше Вари. Вообще для нас это был взрослый человек, в опытности и бывалости которого мы не сомневались. Бывалость его отражена была прежде всего в почти военной одежде, вызывавшей во мне, признаться, зависть и восхищение.

Так, по нашим представлениям, одевались комиссары, члены революционных комитетов. Лева Кравец носил кожаную куртку поверх полосатой матросской тельняшки. Штаны у него были галифе, широчайшие, синие, обшитые сзади желтой кожей. Сапоги высокие, узкие, лакированные, подбитые на каблуках железками. При каждом движении он весь скрипел кожей. Он объяснил мне, что кожа на штанах очень удобна при езде верхом.

– Тебе случалось скакать на коне, юноша? – спросил он меня.

Я только вздохнул, потому что мне никогда не случалось скакать на коне.

Он был узкоплеч, невелик ростом – ниже меня на целых полголовы и ничуть не выше Вари. Но это не мешало нам чувствовать в его облике что-то мужественное, фронтное. Его портило отсутствие нескольких зубов, но даже этот недостаток не казался мне недостатком, потому что давал ему возможность с особым шиком выпускать дым изо рта, не разжимая челюстей.

Конечно, странно было, что такой человек занимается танцами. А между тем он всякий раз являлся в Дом просвещения с чемоданчиком, в котором, как мне было известно, находились трико и особые балетные туфли с вымазанными мелом подошвами.

– Вы любите балет? – спросил я его однажды.

– Я люблю все прекрасное, – ответил он мне, – следовательно, и балет. Не

Варя. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru отрицаю, художественные искания Серафимы Павловны мне близки. Она хочет разрушить застывшие классические формы, освободить танец, сделать его непосредственным проявлением души. Но жизнь прекраснее искусства, и выше всего я ставлю жизнь. А самое прекрасное в жизни – борьба. Я не комнатный человек, я люблю, чтобы щеки мои обжигал ветер, чтобы в лицо мне била буря. Тебе случалось плавать по океану?

Я смотрел на его полосатую матросскую тельняшку и вздыхал, потому что мне никогда не случалось плавать по океану.

– Я не комнатный человек, – повторял он, – я не сентиментален. Наша эпоха не терпит сентиментальности, она требует отваги и беспощадности. Скажи, юноша, тебе случалось убить человека?

Я смущенно молчал, потому что мне никогда не случалось убить человека.

– Наша эпоха требует умения повелевать людьми, – продолжал он. – Наша эпоха – эпоха безграничных возможностей для человека, умеющего повелевать людьми. Наука повелевать людьми заключается в том, чтобы заставлять людей делать не то, что они хотят, а то, что ты хочешь. И притом так, чтобы они думали, будто делают то, чего сами хотят. Тебе случалось бывать в Абиссинии?

«Неужели ему случалось бывать даже в Абиссинии?» – думал я с трепетом.

– В Абиссинии, – говорил он, затягиваясь папиросой и выпуская дым сквозь стиснутые зубы, – существует удивительный способ ловли обезьян. Привязывают кувшин к пню и насыпают в него изюм. Обезьянка подходит к кувшину, засовывает руку, хватает горсть изюма и сжимает руку в кулак. А горло у кувшина как раз такой ширины, что пустая обезьянья ручонка пройти может, а сжатая в кулак не проходит. Чтобы вытащить руку, обезьяна должна разжать кулак и отказаться от изюма. Но жадность мешает ей спастись, отказаться от изюма она не в состоянии. Приходит охотник и так, вместе с кувшином, сажает ее в клетку.

– Это вы к чему же? – не понимал я.

– Вот все ему разжуй и в рот положи! – смеялся Лева Кравец. – Ведь обезьяны и люди – ближайшие родственники.

Рассказывая, он обычно обращался ко мне, а не к Варе. Варя в его присутствии почти не раскрывала рта. Но я чувствовал, что говорил он не ради меня. И Варя хотя и молчала, а очень внимательно его слушала. И в глубине души я не радовался его посещениям.

Правда, весь его несколько загадочный и подчеркнуто мужественный облик произвел на меня большое впечатление. Мне льстило, что такой взрослый и бывалый человек разговаривает со мной почти как с равным. Огорчало меня только то, что он как бы встал между мной и Варей. Я теперь с грустью вспоминал те времена, когда в библиотеке по целым неделям не бывало никого, кроме нас двоих. И когда Лева Кравец приходил в библиотеку, садился на стул и, раскачиваясь, куря, скрипя кожей, рассказывал что-нибудь мужественное, не совсем ясное, но тем более заманчивое, я втайне ждал, когда он уйдет.

Нередко мы втроем бродили по гостиным и залам алексеевской квартиры. Предметы, ее наполнявшие, вызвали постоянное его восхищение. Он с удовольствием разглядывал себя во всех зеркалах и высчитывал вслух, сколько квадратных аршин цельного стекла пошло на каждое из них.

– Жили-поживали, – говорил он.

Он уверял, что любая вещь здесь выписана из-за границы, и называл ее цену в царских рублях. Получалось, что в одной столовой вещи тысяч на пятьдесят. А вся обстановка Алексеевых стоила, по его словам, миллион.

– Награбили, – сказал я.

– Награбили, – согласился он.

Вначале он не оказывал Варе никаких особых знаков внимания и был даже грубоват с

Варя. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru
нею. Помню, как пренебрежительно и почти обидно относился он к ее мечтам
сделаться балериной. Когда она показывала ему свои упражнения перед зеркалом, он
только морщился.

– Хорошей балерины из вас не выйдет, – говорил он, щуря черные глаза и
рассматривая ее с видом знатока. – Я прямой человек, врать не умею. Ну, будете
танцевать в кордебалете, что называется «у воды». Во-первых, для хорошей
балерины вы, слишком крупны. Сколько вам лет?.. Ну, вот видите, вам предстоит
расти еще целых четыре года, а между тем и теперь на сцене всякий партнер будет
казаться рядом с вами чересчур мелким.

– А как же Серафима Павловна? – сказала Варя. – Ростом она ничуть не ниже меня.

– Я очень уважаю Серафиму Павловну, но какая же она балерина! – возразил Лева
Кравец. – Она преподаватель, теоретик... Во-первых, у вас нет талии...

Я удивился, услышав эти слова, так как до сих пор не замечал, чтобы у Вари не
было талии. Я впервые задумался над тем, есть ли у нее талия. Действительно, вся
она прямая и тоненькая, как стрелка, и никакой особой талии у нее не заметно...

– В-третьих, посмотрите, какие у вас руки. – продолжал Лева Кравец. – Ладонь
шириной в тарелку. С такими руками стирать или землю копать, а не выступать на
сцене.

Я смотрел на Варины ладони и вовсе не находил их такими широкими. Ладони как
ладони, у меня, например, гораздо шире. Но Варя согласилась с его мнением о ее
руках. Посмотрела на свои пальцы, пошевелила ими, спрятала руки за спину и,
выставив вперед нижнюю губку, сказала, что не будет больше ходить на занятия к
Серафиме.

– Напротив! Напротив! – воскликнул Лева Кравец. – Вы непременно должны
продолжать занятия. Уроки Серафимы Павловны безусловно полезны всякому, они
прививают изящество, грацию. Я только опасаюсь слишком пылких надежд, так как
они приводят к разочарованию. Балет – хорошая вещь, но вовсе не обязательно
посвящать ему всю свою жизнь...

Я относился к Вариному увлечению балетом с полным равнодушием, но пренебрежение
Кравца к ее надеждам уязвило меня.

– А вы как же? – спросил я, взглянув на его чемоданчик. – Вы разве не
собираетесь посвятить свою жизнь балету?

– Тю, юноша! – ответил он важно. – Моя жизнь – это такой балет!.. Только не тот,
которому обучает Серафима Павловна.

– Однако вы посещаете ее кружок, – сказал я.

– Мало ли что мне приходится посещать! – проговорил он многозначительно.

Он обращался с Варей свысока, но я, конечно, знал, что он заходит в библиотеку
только ради нее. Он, в сущности, не скрывал этого и однажды даже спросил меня
напрямик:

– Почему ты здесь всегда торчишь, юноша?

– А где же ему быть? – спросила Варя, и меня тронула ее защита.

Он стал приходить к нам и в те дни, когда не было занятий хореографического
кружка, без чемоданчика. Или Варя после насмешек над ее талией и руками временно
перестала посещать кружок, или сама Серафима прервала занятия кружка ввиду
приближения лета, не помню. Но балет был забыт, а Лева Кравец появлялся в
библиотеке чуть ли не ежедневно. Мы с Варей засиживались допоздна, так как домой
нас не тянуло, и он заходил обычно вечером, к самому концу нашего рабочего дня.
Начались белые ночи, и многоцветное сияние непотухающей зари лилось во все окна
дома просвещения. Лева Кравец не только не торопил нас, но даже задерживал,
словно оттягивал время нашего ухода. Возможно, он ждал, чтобы я ушел первым и
оставил его с Варей наедине. Но мне эта мысль пришла в голову значительно позже,
а в то время я решительно ни о чем не догадывался.

Рядом с библиотекой находилась бильярдная, и однажды перед уходом он затащил нас туда.

– Тебе случалось играть на бильярде? – спросил он меня.

Играть на бильярде, разумеется, мне не случалось. Жизненный опыт мой тогда был еще так мал, что, по правде сказать, мне даже не случалось видеть, как играют на бильярде.

– А вы, конечно, умеете? – спросил я робко.

– Что за вопрос!

– Где же вы играли?

– Мало ли где! Может быть, на этом самом бильярде...

– Как? – удивился я. – Вы уже бывали здесь? Раньше?

– Мало ли где я бывал... Эх, сыграть бы! Где шары?

Ни шаров, ни киев не было. В доме просвещения бильярдом не пользовались.

– Шары, ясно, спрятаны, – настаивал Лева Кравец. – Я знаю, у кого они. Здесь, на людской половине, до сих пор живет бывший маркер Алексеевых! Беги к нему! Вот мы сейчас поиграем!

Я понял, что он посылает меня к тому старичку с медными пуговицами на тужурке, который обитал где-то рядом с Марией Васильевной. Идти мне не хотелось, но Лева деятельно вертелся вокруг бильярда, потирал руки и торопил меня.

И я пошел.

Я добежал до кухни, до людских комнат. Но ни старичка с пуговицами, ни Марии Васильевны не застал. Я не слишком огорчился и побрел назад.

В бильярдную путь лежал через одну из гостиных. Только я вошел в эту гостиную, как вдруг дверь бильярдной распахнулась, и оттуда прямо мне навстречу выскочила Варя, закрыв лицо обеими руками. Она пробежала мимо меня, не отрывая рук от лица, и я увидел, как дергаются ее плечи, и услышал странный, сдавленный звук – звук приглушенных рыданий.

Я догнал ее в коридоре. Ее трясло от сдерживаемого плача. Она отворачивалась от меня, не отрывала от лица рук, и слезы сочились между пальцами и капали на пол.

– Что? Что? Что с тобой! – спрашивал я, стараясь заглянуть ей в лицо.

Но я уже и сам догадывался, в чем дело: он оскорбил ее. Воспользовался тем, что остался с ней наедине, и оскорбил. Как именно оскорбил, я представлял себе довольно смутно, но оскорбил, и она рыдает от оскорбления. И как я был прав, я с самого начала чувствовал, что он дрянь! Он нарочно послал меня за этими бильярдными шарами, чтобы остаться с ней наедине... О подлец! Нет, это даром тебе не пройдет!..

Гнев нарастал во мне. Никогда еще в жизни я не испытывал такого гнева... Сжав кулаки, я вошел в бильярдную.

Лева Кравец стоял, облокотясь о бильярд с самым небрежным видом.

– Принес? – спросил он меня.

– Что вы сделали с Варей? – спросил я.

– Я? Ничего. Не принес?

– Врете! Она плачет. Что вы с ней сделали?

Варя. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru

Он усмехнулся.

– Подумаешь, недотрога! Пора привыкать.

– Теперь я буду вас бить, – сказал я. И шагнул к нему.

Он попятился.

По лицу его я с удовольствием увидел, что он испугался. Он отступал передо мной вдоль бильярда. Так мы прошли мимо средней лузы.

Я прыгнул вперед.

Он нагнулся и юркнул за угол бильярда. И я понял, что он сейчас обежит бильярд кругом, выскочит у меня за спиной в открытую дверь и уйдет.

Я стремительно кинулся к двери и опередил его. И опять мы стояли на прежних позициях: я – возле двери, он – у бильярда. И опять все повторилось: я погнался за ним, он побежал вокруг бильярда, и я вынужден был вернуться к двери, чтобы не дать ему уйти.

Неудача накалила мой гнев, я кипел и задыхался. А Лева Кравец, поняв, что поймать его нелегко, смотрел на меня уже бесстрашно. Он стоял у дальнего угла бильярда и попрыгивал то вправо, то влево, готовый бежать к двери, с какой бы стороны я к нему ни кинулся.

Я решил, что он дразнит меня. И бешенство мое дошло до предела. Я внезапно вскочил на бильярд.

Он растерялся и побежал. Но бежать он мог только мимо бильярда. И я прыгнул на него сверху.

Он увернулся, но я успел ухватиться левой рукой за рукав его куртки. Чтобы освободиться, он укусил мою руку. Но я в пылу даже не почувствовал боли, а бил его, бил кулаком по чему попало, чувствуя, как он оседает под моими ударами.

Потом мне вдруг стало противно. И я отпустил его.

Он прислонился к стене. Шатаясь, побрел к двери.

– Хорошо! – сказал он угрожающе. – Хорошо же! Еще посмотрим! Хорошо!

Он прошел мимо Вари, стоявшей в дверях, и ушел.

Я впервые взглянул на Варю – впервые с той минуты, как увидел ее плачущей. Она больше не плакала, но на щеках ее еще были заметны дорожки от слез.

Я молча подошел к ней, и она мне ничего не сказала. Я был доволен: я победил! Я защитил ее и отплатил за нее! Она теперь знает, на что я ради нее способен. Она должна быть мне благодарна. Она ничего мне не сказала, но она благодарна. В этом я не сомневался.

Мы вышли вместе, и я пошел ее провожать. Я никогда прежде не провожал ее, но теперь я заявил, что это необходимо, так как – кто знает! – быть может, Лева Кравец подстерегает ее где-нибудь на углу, чтобы отомстить. Она не возразила, и мы пошли с ней рядом по улицам, уже начинавшим погружаться в сумерки.

Но Лева Кравец не подстерегал нас нигде. Улицы были пустынные, и наши шаги по тротуарным плитам звучали отчетливо и громко. Бесстрашным и могучим чувствовал я себя. Варя жила на Петроградской стороне, и мы пошли через Марсово поле, мимо окруженных огородами могил революционных борцов. На длинном Троицком мосту было ветрено, вода была серой от ряби, Нева казалась безгранично широкой, здания на ее берегах торжественно плыли куда-то сквозь сумерки, подобно таинственному флоту, и полуночная заря, как угли сквозь пепел, тлела впереди, прямо на севере.

За мостом мы расстались.

– Ты мой настоящий друг, – сказала мне Варя.

– Да, я твой друг, – подтвердил я гордо.

Укушенная рука болела с каждой минутой все сильнее, но я был счастлив.

6

Мои отношения с Варей внешне нисколько не изменились. Мы ежедневно встречались с ней в библиотеке и вели себя, как обычно. О происшествии слевой Кравецом не разговаривали. Даже имени его не называли.

Но я, конечно, о нем не забыл. Должен признаться, что воспоминание об одержанной победе долго меня тешило. Я стал гораздо увереннее. Я уже не так болезненно ощущал, что Варя на целых два года старше меня. Я держал себя с ней по-прежнему, но поглядывал на нее иногда даже покровительственно.

Я ожидал, что тот разговор на мосту, когда она назвала меня своим настоящим другом, будет иметь продолжение, но ошибся. О нашей с ней дружбе она больше не упоминала. Она считала ее чем-то само собой разумеющимся, не нуждающимся в дальнейших выяснениях. Она вообще стала как-то молчаливее и тише в эти дни.

Но, помню, однажды она со мной все-таки разговорилась. Я опять сказал ей, что в книгах она читает только про любовь. И она на этот раз не ответила мне, как прежде: «Что ты в любви понимаешь!» Сидя на вершине книжной кучи, она оторвала глаза от раскрытой книги, лежавшей у нее на коленях, и сказала, что любовь – только тогда любовь, когда ради того, кого любишь, ты способен на самый отчаянный подвиг, на какую хочешь жертву.

– У нас на Петроградской стороне за одной портнихой ухаживал студент, – сказала она. – Они шли по набережной, и он объяснялся в любви. А дело было в декабре, Нева уже стала, только у набережной дымилась полынья. Она и говорит: «Если любишь, прыгни в эту полынья». Не успела договорить, а он уже как был, в шинели, перескочил через парапет и – в воду.

– Утонул?

– Нет, вытащили.

Я подумал, что подвиг этот не так еще велик и что, если бы Варя потребовала, я тоже прыгнул бы в полынья. Но промолчал.

– А знаешь стихотворение про рыцаря Делоржа? – спросила она. – Дама, которую он любил, нарочно бросила свою перчатку в клетку к львам и велела ему пойти и достать. Он вошел в львиную клетку и достал.

– Она поступила по-свински, – сказал я.

– Это неважно.

– Почему неважно?

– Важно, что он любил и не побоялся. Если бы я любила, я не задумываясь дала бы отрубить себе руку.

– А косу? – спросил я насмешливо.

– Ну и косу, – ответила она серьезно.

К своей чести, должен сказать, что я ни на одно мгновение не связывал ее рассуждения о любви со своей особой. До такого самообольщения я не доходил. Я полагал, что, говоря так, она никого не имеет в виду.

К концу рабочего дня она становилась беспокойной. Начнет записывать книги и встанет. Начнет расставлять по полкам и бросит. Переспрашивать ее приходилось по нескольку раз: она словно не слышала. Примется читать, но сейчас же отбросит книгу и взглянет на дверь. И чем ближе к вечеру, тем чаще она взглядывала на дверь. Засиживались мы в библиотеке еще дольше прежнего: ее никак нельзя было увести, она все что-нибудь придумывала, чтобы оттянуть уход.

Варя. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru
Наконец на четвертый, кажется, день она меня спросила:

– Так он больше не придет?

– Кто? – не понял я.

– Лева.

Я решил, что она боится. И поспешил ее успокоить.

– Ясно, не придет. Он уже здесь получил все, что ему причиталось. А снова сунется – я ему снова морду намылю!..

Она взглянула на меня, но ничего не сказала.

То были тревожные дни: белые шли на Петроград, и носились слухи, что они совсем уже близко. Называли дачные поселки, хорошо всем петроградцам известные, в которых уже белые. С достоверностью рассказывали, что на одном из кронштадтских фортов изменники офицеры подняли мятеж; они захватили форт и передали его белым. И когда мы в сумерках вышли с Варей из Дома просвещения, мы на притихших улицах явственно слышали отдаленный гул артиллерийской пальбы.

Снова была белая ночь, и окна верхних этажей, отражавших зарю, сияли золотом. За углом мы повстречали отряд, идущий на фронт, – человек двести. Улица была налита сумраком, как влагой, и фигуры бойцов сливались. Они пели старую революционную песню:

Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе,
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе.

Среди гулких мужских голосов слышны были и два-три женских, звонких, высоких. Мерный шум шагов. Стук пулеметов, которые волокли по мостовой. Когда головная часть отряда взошла на горбатый мост через Мойку, мы на фоне неба увидели штыки винтовок и над ними знамя на тоненьком древке.

Колонна скрылась за мостом, и вдруг мы заметили бегущего навстречу человека. Он, видимо, отстал от отряда и теперь догонял его. Это был немолодой, усатый мужчина в кожаной куртке, с винтовкой за плечами. Ничего общего не было между этим человеком илевой Кравецом, кроме кожаной куртки. Но Варя вспомнила Леву Кравца.

– Он, может, совсем не оттого не приходит, что тебя испугался, – сказала она мне.

– Ну вот! А отчего же?

– Ушел на фронт.

– Кто? Он? – спросил я презрительно.

– Надо узнать, – сказала она.

Я не придавал ее словам никакого значения. А на другой день, в субботу, она впервые не пришла на службу.

Я долго ждал ее, думая, что она опоздала. Расставлял наугад книги по полкам, читал. Потом начал тревожиться. Я сам не знал, чего опасаться, но день был тревожный: орудийная пальба была слышнее, чем накануне, и при каждом выстреле окна библиотеки мягко вздрагивали. Несколько раз я бегал к подъезду Дома просвещения и ждал там на мраморной лестнице. То тут, то здесь я наткался на Марию Васильевну, бесшумно ступавшую по паркету войлочными туфлями. Узкие губы ее были сжаты, и лицо, как всегда, словно заперто на замок. Но при каждом выстреле в глубине ее потухших глаз вспыхивали тусклые огни.

Варя так и не пришла, а следующий день был неслужебный, и я сидел дома. Мама стирала на кухне пеленки, а я тут же под ее руководством гладил белье, принесенное с чердака. К стыду своему, должен признать, что делал я это с

Варя. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiy.nikolai.ru
величайшей неохотой и только о том и думал, под каким бы предлогом сбежать. Мама чувствовала это, была раздражена и поминутно ко мне придиралась. Ее до крайности утомляла моя новорожденная сестренка, хилая, еле живая, беспрестанно пищавшая за стеной; то и дело отрываясь от своего корыта, мама поправляла мыльной рукой волосы и бежала к ребенку. Ее как раз не было в кухне, когда вдруг зазвонил медный колокольчик над дверью.

Я поставил утюг на подставку и открыл входную дверь. На лестничной площадке стояла девочка лет десяти с двумя светленькими косичками и смотрела на меня голубыми глазами.

– Мне нужен Коля, – сказала она.

– Это я.

Она оглядела меня недоверчиво. Руки она одержала за спиной. – Вы Коля?

– Коля.

– Не врите?.. Вы слишком большой... А нет у вас в квартире другого Коли?

– Нету.

Она молчала, колеблясь. Потом вдруг решилась:

– Тогда это вам.

Она протянула мне сложенный фантиком бумажный листок и кинулась вниз по лестнице.

– Постой!

Но внизу уже стукнула дверь.

На фантике было написано: «Коле». Я развернул его и прочел:

«Во имя нашей дружбы приходи сейчас же на Фонтанку против Летнего сада. Жду.

Твой друг Варвара Барс».

Почерк был аккуратный, ровный, тот самый, которым она записывала названия книг в гроссбухи. Пока я читал, мама вернулась в кухню.

– Это что? – спросила она недовольно.

– Это мне. Меня вызывают сейчас в библиотеку.

– Глупости. Кто может тебя вызывать?

– Заведующая. Моя заведующая. Ей-богу. Сама заведующая...

– А ну, покажи.

Но показывать я не стал. Я сунул листок в карман и выскочил на лестницу, не захватив даже картуза, чтобы меня не задержали. Я был счастлив, что мне удалось вырваться из дому. Я трепетал от любопытства, от волнения. Слова «во имя нашей дружбы» горели во мне.

Набережная Фонтанки против Летнего сада была пустынна из конца в конец, и я издали увидел Варю. Тоненькая и прямая, беспокойно похаживала она в ожидании вдоль чугунной ограды над водой. Она тоже сразу заметила меня и торопливо пошла мне навстречу.

Она принарядилась так, как принаряджались девушки в девятнадцатом году. Девушка в те времена считала себя нарядной, обернув лоб цветной лентой и пропустив ее сзади под волосами. Такая именно ленточка, голубенькая, была на лбу и у Вари. Туфли тоже не те, в которых она ходила в библиотеку, а хотя и стоптанные, но на высоких каблуках. Благодаря острому этим каблучкам она казалась еще тоньше и выше.

– Отчего ты так долго?

Я объяснил, что побежал, как только получил ее записку.

– Это девочка с нашего двора, – сказала Варя. – Я боялась, она напутает. Как ты мне нужен! Скажи, ты мне друг или не друг?

Я сказал, что, разумеется, друг.

– Мне нужен друг, на которого можно положиться!

Я сказал, что на меня она может положиться вполне.

– Во всем?

– Во всем! – сказал я пылко.

– И ты сделаешь все, что я попрошу?

– А что ты хочешь попросить?

– Нет, ты раньше должен обещать.

Я вдруг заколебался:

– Как я могу обещать, если не знаю..

– Нет, ты должен обещать, иначе ты мне не друг! Обещай сделать все, что я тебя попрошу, даже если тебе не понравится, даже если будешь не согласен!

– Но посуди сама..

– Обещаешь? Нет? Ну, тогда я тебе ничего не скажу.

Она повернулась ко мне спиной и пошла прочь. Этот довод сразил меня.

– Варя!

Она обернулась:

– Обещаешь?

– Ну, обещаю..

Она подошла ко мне очень близко и сказала, глядя прямо в лицо:

– Проводи меня к нему.

– К кому?

– К Леве Кравцу.

От изумления я совсем потерялся.

– Ты что это!

– Мне нужно.

– Да ты с ума сошла!

Розовые пятнышки появились у нее на щеках, под скулами.

– Я должна. Я обязана ему все сказать.

– Да что сказать?

– Все, все. Мы подыдемся с тобой вместе, ты будешь молчать, ты ничего ему не

Варя. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru
сделаешь, а я все скажу...

Я не понимал. Я не верил, что она говорит серьезно.

– Как я к нему пойду? Ведь я побил его!

– Тем более. Значит, и ты обязан.

– Ну, нет! Я не сумасшедший.

– Так не пойдешь?

– Ясно, не пойду.

– Но ведь ты обещал!

– Я не знал...

– Значит, ты мне не друг.

– Нет, друг.

– Пойдешь?

– Не пойду.

– Тогда я пойду сама!

Она повернулась и, стуча каблучками, быстро-быстро зашагала прочь.

Я стоял растерянный. Потом побежал за нею вслед. Не мог же я отпустить ее!

– Постой! Послушай! Как, ты идешь к нему? Ведь он нахально тебя поцеловал?

Она остановилась и взглянула на меня. Розовые пятнышки у нее на щеках увеличились. Серые глаза потемнели.

– Он не смел меня целовать, – сказала она. – Не смел, даже если любил. Но бывают такие минуты, когда можно поцеловать того, кого не смеешь.

– Какие минуты?

– Когда идешь на смерть. Вот какие!

Она задыхнулась от волнения. Смотрела на меня и ждала, что я скажу. Но я молчал.

– Так пойдешь со мной?

– Да ведь я не знаю, где он живет...

– Фонтанка, сто двадцать три.

– А ты откуда знаешь?

– Я вчера нарочно пошла к Серафиме Павловне на квартиру и спросила.

Мы зашагали по набережной Фонтанки.

7

Нумерация домов на Фонтанке начинается возле Летнего сада, и до дома № 123 очень не близко. Нам предстояла длинная прогулка.

Никогда еще зелень в Петрограде не распускалась так пышно, как в то лето девятнадцатого года. Тяжелая, яркая листва выпирала из всех садов и скверов. Дворы зарастали травой, как лужайки, помойки тонули в крапиве и лопухах. На мостовых между каждыми двумя бульжниками подымалась нежная травинка. Травинки и даже небольшие кустики зеленели на ржавых крышах, на карнизах, между разбитых тротуарных плит. Деревянные петроградские мостовые – торцы, гниющие и постепенно

Варя. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiy@nikolai.ru
разваливавшиеся, – покрывались бархатистыми мягкими наростами из плесени и мха.

Это вторжение зелени в каменное тело опустевшего города я наблюдал снова двадцать три года спустя, летом сорок второго, во время осады. Тогда я тоже, бывало, сбивая носком флотского ботинка головки одуванчиков, вспоминал, как шагал здесь когда-то вместе с Варей и дивился, как странно все повторилось: и пустынность мостовых, и травка между камнями, и нагретые солнцем полузатонувшие баржи, и писк мелькающих ласточек, и привычное чувство голода, и тревога, и вздрагивание воздуха над головой от тяжелой оружейной пальбы.

Сначала я плелся позади Вари, желая показать, что я ничего не одобряю и иду поневоле. Но потом мне это надоело, и я пошел рядом. Мне все-таки очень хотелось кое о чем порасспросить ее.

– Он, что ли, уезжает на фронт?

– Нет, – ответила она.

– Здесь остается? В городе?

Она кивнула.

– Вот видишь! – сказал я презрительно. – Что же ему угрожает?

– Много ты понимаешь!

– Не меньше тебя.

– Ну, положим. Главное здесь случится, а не на фронте.

Я был поражен. Я даже остановился.

– Откуда ты знаешь? Серафима сказала?

– Нет... Да... Она мне так не говорила... Но я поняла... Она знает его с детства и очень хвалила его.

– За что же?

– Она и меня хвалила. Она сказала, что я умница и правильно сделала, что обратила на него внимание. Его ждет большое будущее. Чего ж мы стоим? Идем!

Мы опять зашагали.

– У Серафимы много лет была балетная студия, и его привели к ней маленьким мальчиком, – продолжала она. – Мать привела, Серафима хорошо знает его мать. Он отлично танцевал, но сейчас отбил от балета. И она не осуждает его. Она говорит, что теперь есть вещи нужнее танцев...

Я постарался вернуть ее к тому, что меня особенно поразило.

– Нет, ты скажи, что это значит: решится здесь, а не на фронте? Что решится?

– Все, – ответила Варя. – Когда белые подойдут к самому городу, в городе начнутся события.

– Какие?

– Она не сказала какие. Она много раз повторяла, что не имеет права рассказать... И на случай этих событий в городе должны оставаться люди. Понимаешь, настоящие люди. И Леву Кравца оставили, чтобы защищать город, когда начнутся события...

– Это она тебе сказала, что его оставили, чтобы защищать город?

– Нет, так она не говорила. Но это ясно.

Она отвечала мне уверенно, с некоторой даже надменностью, с пренебрежением к моей недогадливости.

Все, что я услышал от нее, очень меня взволновало. Я был покорен ее властным тоном. И все же я продолжал сомневаться. Мне очень не хотелось идти к Леве Кравцу. И когда номера домов, мимо которых мы шагали, перевалили наконец через сотню, я заколебался опять.

– Тут что-то не то, – сказал я.

– Что не то?

– Не тот он человек, чтобы его оставили для такого дела. Он трус. Помнишь, как он побледнел, когда я вскочил на бильярд?

– Он вовсе не побледнел. Ты зол на него, потому что дрался с ним, – сказала она. Это замечание больно меня задело.

– А из-за кого я подрался? – спросил я. – Из-за тебя. Он поцеловал тебя, и ты ревела.

– Он не смел меня целовать, – повторила она. – Но это касается только меня. Это – дело только мое.

Мы дошли до дома 123. Мы стояли возле ворот.

– Во дворе. Квартира шестнадцать, – сказала она. – Идем!

– Не пойду...

– Тогда я пойду одна.

Она повернулась ко мне спиной, и каблучки ее застучали под аркой ворот.

Я пошел за нею.

Под каменной аркой было зябко, лето еще не проникло туда. Мы пересекли дворик и стали подыматься по грязной, затхлой лестнице, с трудом разглядывая в полумраке номера на дверях квартир. Варя шла впереди. Она шагала все медленнее, и я почувствовал, что она робеет. Я решил сделать последнюю попытку.

– Вернемся, – сказал я. – Ведь нелепо...

Но она презрительно передернула плечом и заторопилась. Дойдя до квартиры шестнадцать, она торопливо дернула за звонок, чтобы я снова не постарался остановить ее.

Звонок задрезжал. Тишина.

Потом за дверью раздались шаркающие шаги. Звякнул замок, дверь приотворилась, но только чуть-чуть. В щелку на нас глянуло чье-то лицо.

– Вам кого?

– Лева дома? – спросила Варя робко, совсем не так, как она разговаривала со мной.

Тишина. Нас долго разглядывали. Затем лязгнула дверная цепочка, и дверь распахнулась.

На пороге стояла маленькая седеющая женщина и рассматривала нас черными, как у Левы Кравца, глазами.

– Заходите, – сказала она ласково.

Мы вошли в маленькую кухоньку, очень жаркую, потому что топилась плита и кипел большой медный чайник. В кухоньке было светло, прибрано, кастрюли блестели на полках, на кухонном столе лежала чистая салфетка. Сквозь раскрытую дверь видна была комнатка с высокой аккуратной постелью, с иконой в углу, из-за которой

Варя. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolaï.ru
торчали веточки вербы, со светлым зеркалом, отражавшим окно, на котором стояли герани. Женщина, впустившая нас, была такая же чистенькая и уютная, как все вокруг. От нее сладковато пахло ванилью.

– Вы Левочкины друзья? – спросила она, продолжая разглядывать меня и Варю.

Я не знал, как ответить, потому что вовсе не считал себя Левочкиным другом. Но Варя сказала:

– Да.

– Левочки нет дома, – сказала женщина. – Он будет очень жалеть.

Я испытал огромное облегчение, нетерпеливо толкнул Варю локтем и шепнул:

– Ну, пойдём...

Но Варя сделала вид, что не расслышала.

– Можно его подождать? – спросила она.

– Он вам, верно, сказал, что придет сегодня! – воскликнула женщина обрадовано.

– Нет, он ничего не говорил, – ответила Варя.

– А вы видели его?

– Нет, не видели. Мы так пришли, сами.

– Ну, тогда вы его не дождетесь, – огорчилась женщина. – А я-то уж подумала!.. Он теперь редко ко мне приходит. Раз в три дня, и то только поздно вечером. Придет, крикнет: «Мамаша, есть!» Поест, поспит, а утром и нет его. Он все занят, сейчас такое время... Мне он ничего не докладывает... «Мамаша, не суйтесь, вы ничего не понимаете!» А вы понимаете? – спросила она.

– Понимаю, – ответила Варя многозначительно и важно.

– Пойдем, пойдём, – сказал я, взял Варю за руку и потащил к двери.

– Нет, я вас так не отпущу, – заговорила мать Левы Кравеца. – Вы должны выпить у меня чаю. Как раз чайник вскипел. Нет, нет, садитесь, садитесь. – Она пододвинула табуретки к столу. – Для меня радость, что вы пришли. Я всегда одна, одна...

– Спасибо. Не надо, – сказал я, хотя мне вдруг очень захотелось чаю.

– С пирогом, – сказала женщина. – Вот. Еще осталось.

Она проворно поставила на стол тарелку с крупно нарезанным пирогом, в котором были запечены большие куски рыбы.

– Спасибо, – сказала Варя, села за стол, и корочка пирога звонко хрустнула на ее белых зубках.

Я тоже сел. Чашки чая, заваренного на брусничных листьях и потому красного, появились перед нами. Рыба в пироге была восхитительно солоня. Мы жевали, а мать Левы Кравеца стояла и рассказывала о каких-то своих поездках в деревню, где она меняла юбки, кофты, наволочки на муку.

– Да, все теперь спуталось, сбилось, все пошло не так, – говорила она горестно. – Дети не чтут родителей... Революция, революция, он теперь все революцией занят... Конечно, и в революции правда есть, мы люди небогатые, нам терять нечего... Однако Левушка был в такие хорошие дома вхож и так его там принимали!.. С такими знакомствами знаете как он пошел бы в гору!.. И у революции можно стать большим человеком, но все что-то не то... Сомнительно... И жить трудно, – вздыхала она. – Ох, как трудно! А ведь хочется, чтобы он питался. Ему нужно питание...

Она явно любовалась нами. Особенно Варей.

– Ну и коса! – приговаривала она.

И Варя перебрасывала косу с груди на спину.

Я съел два куска пирога. Я выпил третью чашку и вспотел. Мне налили четвертую. Я с наслаждением пил четвертую, понимая, что этим чаем я окончательно уничтожил все значение своей победы надлевой Кравецом там, в бильярдной.

– Можно мне написать ему записку? – спросила Варя.

Левина мать подала листок, чернильницу, и Варя написала:

«Я все поняла. Мне необходимо с вами поговорить. Приходите в библиотеку.

Варвара Барс».

И мы ушли.

8

На следующий день мы уже орудийной пальбы не слышали. Над старыми, истоптанными камнями города, над его башнями, шпилями, над купами его садов, над его колоннами, каналами, реками, над четырьмя сотнями его мостов и мостиков воздух больше не вздрагивал. В тишине сияло над ним ласковое, не слишком греющее солнце, в тишине пылали ярчайшие, непотухающие зори. Захваченный изменниками форт был взят нами обратно, наши части перешли в наступление, белые медленно отходили, и шум удалявшейся битвы уже не достигал городских улиц.

Однако тишина эта не принесла настоящего облегчения. Доверия ей не было. Врага потеснили, но не уничтожили. Враг стоял еще совсем близко, он огрызался, он удерживал плацдармы, занимался перегруппировкой и пополнением своих сил и явно готовился к новому прыжку. И все в городе ждали этого прыжка и знали, что тишина – только отсрочка, передышка.

Отряды, ушедшие на фронт, назад не вернулись, не вернулся и заведующий нашим Домом просвещения. По-прежнему до нас и нашей библиотеки не доходили руки, и мы, позабытые всеми, жили все той же еле теплившейся жизнью.

Как и когда Лева Кравец снова встретился с нами, как и когда он снова появился у нас в библиотеке, я не помню. Он, кажется, пришел вовсе не так уж скоро после Вариной записки. Может быть, через неделю, даже через две. Но, появившись, стал навещать нас еще усерднее, чем раньше. Теперь он проводил в Доме просвещения многие часы ежедневно.

Я и он, мы встречались так, словно нашей ссоры никогда не бывало. Он по-прежнему называл меня юношей и разговаривал со мной хотя свысока, но охотно. Не могу сказать, чтобы это мне нравилось. Я чувствовал ложность своего положения и тяготился этим. Но что я мог теперь сделать, если, избив его, пошел к нему в гости и пил чай у его мамы?

О ссоре нашей он не поминал, но, конечно, ничего не забыл, и порой я замечал на себе его тяжелый, угрюмый взгляд, полный откровенной вражды. Однако это бывало только минутами. Обычно он относился ко мне с небрежной благосклонностью. И даже достаивал играть со мной в шашки.

Он играл в шашки отлично; во всяком случае, несравненно лучше меня. Он всегда выигрывал. Это меня задевало, и я все предлагал сыграть еще, надеясь отыграться. Он нехотя соглашался, громил меня опять и опять, потом отталкивал доску и говорил презрительно:

– С тобою нет никакого смысла играть.

Он явно хотел сказать этим, что я глуп. Я обижался, но глотал обиду.

На бильярде он тоже играл хорошо. Меня он поразил своим искусством. Быть может, я удивлялся его умелой игре только оттого, что никогда прежде не видел, как играют на бильярде. Но когда он с первого удара разбивал пирамидку и загонял шар в лузу, а потом клал подряд еще два шара, у меня замирал дух.

Варя. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolaï.ru
Кии и шары он без труда раздобыл у старичка с медными пуговицами. Вообще и старичок этот и Мария Васильевна относились к нему со странным благоволением, совсем не так, как к нам, работникам Дома просвещения. Они улыбались ему, и кланялись, и всегда старались услужить, если он о чем-нибудь просил. Играя с ним, старичок маркер угодливо семенил вокруг бильярда, подставлял ему шары и постоянно проигрывал. Лева Кравец держал себя с ним совершенно свободно и говорил ему «ты».

– Ступай, ступай, – отсылал он его, – я один поупражняюсь.

И часами в одиночестве гонял по бильярду шары.

– Он что, давно вас знает? – спросил я Леву Кравца однажды.

– Еще бы! Как ему меня не знать, – ответил Лева Кравец. – Меня вся прислуга Алексеевых знает.

– Откуда же? Вы здесь бывали?

– Возможно, – ответил он, по своему обыкновению, загадочно. – Сережка Алексеев единственный сын и наследник... А мы с Сережкой – вот так.

Он переплел средний палец правой руки со средним пальцем левой, чтобы показать, какая между ними была дружба.

– Как же вы с ним познакомились?

– Мало ли с кем я был знаком!.. Мы с ним вместе учились у Серафимы Павловны..

– И вы здесь бывали?

– Считаю, что каждый день.

– Чем же кончилась ваша дружба?

– Чем кончилась? – Он усмехнулся: – Развела судьба.

И загнал шар в лузу.

До игры на бильярде со мной он, разумеется, не унижался. Не позволял мне даже взять кий в руки.

– Брось, брось, сукно порвешь, – говорил он мне. – Подай мелок.

И я покорно подавал ему мелок. Я все сносил от него, хотя мне это вовсе не нравилось. Но что было делать? Я знал, что стоит мне проявить строптивость, и дружбе моей с Варей конец. Навсегда, бесповоротно.

Варя приходила раньше Левы Кравца и ждала. Она вся была полна ожиданием. Сидя за своим столиком с пером в руке, она прислушивалась. Поминутно вскакивала и выглядывала за дверь. Если он долго не приходил, она становилась все беспокойнее. На мои вопросы она переставала отвечать – просто не слышала их. Когда наконец за дверью раздавались его шаги, она менялась в лице. Глаза ее озарялись торжеством и радостью. Но только на мгновение. Чем ближе стучали шаги, тем явственнее радость сменялась робостью. Когда он входил, она взглядывала на него почти с испугом.

– Ты заметил, какой он сегодня бледный? – шептала она мне.

Или:

– Ты заметил, он чем-то недоволен? Что-то его огорчило...

При нем она бывала молчалива. Но ни на мгновение не забывала, что он здесь, рядом, и безмолвно, как бы исподтишка, следила за ним. Когда он играл на бильярде, она, сидя в библиотеке, все приподымала голову и вслушивалась в стук шаров. Когда мы сидели с ним за шашками, она, в каком бы конце комнаты ни находилась, искоса поглядывала на его склоненную голову, на его руки. В конце

Варя. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru
концов, не выдержав, подходила к нему и останавливалась у него за спиной. Так простояла она могла очень долго. Иногда, к моему отвращению, он протягивал руку и начинал небрежно играть концом ее косы. Он подносил конец косы к своему рту и дул на него, шевеля волоски своим дыханием. В эти минуты я ненавидел его особенно сильно.

Наша уединенная жизнь с Варей кончилась. Теперь нас было трое, и я никак не мог этого изменить. Когда мы оставались с нею вдвоем, она думала о Леве Кравце. Разговаривая со мной наедине, она поминутно вспоминала о нем.

– Он плохо питается, – тревожно говорила она, точь-в-точь как его мама.

Даже наши совместные пиршества, которые я так любил, прекратились. Помню, нам выдали паек, я отправился с воблой и хлебом в библиотеку, а Варя почему-то задержалась. Я разостлал газету, но, верный обычаю, не стал есть, а добросовестно ждал ее. Однако она все не приходила. Я был голоден, вид лежавшей на газете воблы дразнил меня, и терпение мое скоро иссякло. Я пошел искать Варю, спустился в ту комнату, где выдавались пайки, но там уже никого не было. Я обежал весь Дом просвещения и нашел ее на кухне у Марии Васильевны. Лева Кравец, расставив ноги в синих галифе, сидел за столом, Мария Васильевна наливала ему в стакан кипяток из чайника, а он чистил и ел Варину воблу. Варя же, стоя коленями на табуретке, полураскрыв румяные губы, с выражением радости на лице следила не отрываясь за его вымазанными жиром пальцами, за его ртом.

– Ему нужно питание, – объяснила она мне впоследствии, не сомневаясь, что этот довод для меня так же убедителен, как для нее.

Все в нем казалось ей милым, значительным, и она не понимала, как другой человек – я, например, – может его не любить. И даже ненавидеть.

Надо сказать, что я ненавидел бы его меньше, если бы он относился к Варе так же, как она к нему. Но он обращался с ней небрежно, разговаривал снисходительно и свысока.

– Скука у вас здесь зеленая, – говорил он. – Не было бы бильярда, так можно было бы подохнуть...

Он зевал и потягивался, а я при этих словах о «зеленой скуке» испытывал острое чувство обиды за Варю. Однако она сама не обижалась нисколько. Она, кажется, считала вполне естественным, что такому выдающемуся человеку, как Лева Кравец, с ней скучно. Она придавала огромное значение его таинственной деятельности, на которую он иногда намекал, и при его неясных, вскользь брошенных замечаниях, что теперь нужно «ждать и ждать», на лице у нее появлялось важное и даже торжественное выражение.

Я не сомневаюсь, что о сути его загадочных дел Варе было известно не больше, чем мне. Он не объяснял нам ничего, кроме того, что «все в свое время решится», что «решится все большой кровью» и что тогда станет ясно, «какой человек чего стоит». Ни я, ни Варя никогда не задавали ему никаких вопросов, потому что он объяснил нам, что есть вещи, о которых он не проболтался бы даже под пыткой.

– Человек должен быть достоин того доверия, которое ему оказывают, – говорил он горделиво.

Мы считали его настоящим революционером, большим человеком у советской власти. Он упоминал то о том, что был вчера в Смольном, то о беседе с каким-то комиссаром, «приехавшим инкогнито, чтобы не дразнить гусей», то о том, что не спал всю ночь, потому что «принимал участие в одной операции». Он поражал нас своим знанием положения дел на фронтах. Когда я робко вставлял какое-нибудь замечание, он спрашивал:

– Откуда тебе это известно?

– Из газеты, – отвечал я. – Прочел на стене...

– Тю, газета! – говорил он. – Как будто из газеты можно что-нибудь узнать...

Отступлению белых под Петроградом он не придавал никакого значения.

– Тактика, – объяснял он. – Сегодня отступили, завтра опять будут здесь. Не откажутся они от Петрограда. У них, по-твоему, на что главный расчет? Нападение? Штурм? Нет, милый мой! У них расчет, что их впустят в город.

– Кто же их впустит?

– Не беспокойся, найдутся.

– Но ведь это измена!

Он засмеялся.

– Одну и ту же вещь можно называть по-разному, – сказал он. – А ты представляешь, юноша, что они получают после того, как генерал Юденич проедет верхом на коне по Невскому? Все станет их, все будет им открыто!..

– Выловить их надо, – сказал я.

– Надо бы, – подтвердил он.

– Поскорей, пока они не успели.

– Их и ловят, можешь не сомневаться.

– Может быть, вы их и ловите, – высказал я предположение.

– Может, и я...

Он, как всегда, говорил о своей деятельности крайне неясно. Но Варя была уверена, что она о многом догадывается. О чем-то светлом, мужественном, геройском. Он ни во что не посвящал ее, но это не мешало ей чувствовать себя его сообщницей. Помню, каким гордым и таинственным стало ее лицо, когда он однажды из кармана своей кожаной куртки выронил на пол револьвер.

Он нагнулся, чтобы поднять папиросу, закатившуюся под стол, и вдруг что-то тяжелое упало на паркет. Он постарался – или притворился, что старается, – заслонить от нас упавший предмет, но действовал так медлительно и неуклюже, что мы все успели рассмотреть. Револьвер небольшой, черный.

Убедившись, что мы увидели, Лева Кравец поднял его, подбросил несколько раз на ладони руки и спрятал в правый карман. Потом сунул левую руку в левый карман, вытащил оттуда второй револьвер, точно такой же, и подбросил его на левой ладони, наслаждаясь впечатлением, которое произвел на нас. А впечатление действительно было большое.

– Дайте посмотреть, – попросила Варя и протянула руку.

Но он поспешно сунул револьвер обратно в карман.

– Ну, нет, – сказал он. – Это не шутки.

И два раза провел пальцем перед ее носом.

Увидав эти два револьвера, я окончательно поверил, что ему действительно поручено что-то важное.

Разумеется, Варя посвятила его и в секрет маленькой дверцы, за которой начинался потайной ход в банк. Это было мне особенно обидно: и дверца, и винтовая деревянная лестница, и весь брошенный банк – все это была наша общая тайна, моя и Варина, принадлежавшая только нам двоим и так нас сблизившая. Теперь кончились наши долгие прогулки вдвоем по пустынным комнатам и залам, наши поиски спрятанных сокровищ, наши катания с разбегу по паркету, наши страхи. Теперь мы отправлялись в банк втроем, и главным лицом в этих походах был Лева Кравец.

Существование потайного хода, ведущего в запертое банковское помещение, удивило Леву Кравца. Он хотя бывал у Алексеевых и раньше, но о том, что квартира их сообщается с банком, не имел представления. Помню, с каким любопытством шагал он

Варя. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru
первый раз по банку из комнаты в комнату, заглядывал во все двери и восхищенно приговаривал:

– Ого! Тут еще! Да вы подумайте! Ого!

Этот брошенный банк был для него совсем не тем, чем для нас с Варей, и вся прелесть блужданий по банку пропала для меня безвозвратно. Мне уже и ходить туда не хотелось. И все чаще бывало, что Лева Кравец и Варя отправлялись за маленькую дверцу без меня. А я одиноко сидел в библиотеке.

Однажды – было это уже во второй половине лета, в августе, – они вдвоем ушли в банк, а я остался в библиотеке почитать и зачитался. Очнувшись, я вдруг сообразил, что прошло уже очень много времени, а они все еще не вернулись. Я встревожился, не знаю почему. Подождал еще, но читать уже не мог. Поколебавшись, я сам отправился в банк.

Ни в кабинете управляющего, ни в операционном зале их не было. Я прошел по коридору, заглядывая в кабинеты, поднялся по лестнице во второй этаж. Их нигде не было. Сначала я шел неторопливо, потом все быстрее, наконец побежал. Я даже по железной лестнице в подвал спустился, но там было темно, как в могиле. Я подумал бы, что они ушли через какой-нибудь другой ход, если бы не знал наверняка, что все входы и выходы банка заперты, кроме одного, – того, что ведет в библиотеку.

Я нашел их в самой крайней комнате первого этажа, такой дальней, что мы туда почти никогда не заглядывали. Это была просторная комната с одним окном, забранном железной решеткой, и потому полутемная. Дверь в коридор была приоткрыта. Я заглянул в нее и остановился.

У стены я увидел спину Левы Кравца в кожаной куртке, его черный затылок. Лева Кравец целовал Варю, обняв ее и прижав к стене. Лицо ее, обращенное ко мне, поразило меня. В сумраке оно казалось застывшим, прозрачным и словно светящимся. Он целовал Варю в губы, и глаза ее были закрыты.

Это длилось два-три мгновения. Потом Варя открыла глаза и увидела меня.

Она оттолкнула Леву Кравца, проскользнула мимо него и, отчетливо стуча каблучками, двинулась к двери. Она шла прямая, вызывающе гордая. Ни тени смущения, только гнев. Твердо глядя мне в глаза, она сказала:

– У тебя есть отвратительное свойство: ты вечно суешься туда, куда тебя не просят.

Прошла мимо и быстро пошла прочь по коридору. Мы остались с Левою Кравецом одни. Я шагнул через порог комнаты ему навстречу.

– А, ты опять! – сказал он злобно.

Не помню, какие были у меня намерения. Я ненавидел его, однако, вероятно, сам не знал, что собираюсь сделать. Но он, несомненно, решил, что я собираюсь бить его, как тогда, в бильярдной. Он побледнел – от злости, не от страха.

– Нет, на этот раз не выйдет, теперь не выйдет, – проговорил он, вынул из кармана револьвер и направил его на меня.

Я остановился.

– Теперь не выйдет, – повторил он, целясь. – Ты мне надоел, и я с тобой покончу. Здесь выстрела не услышит никто. Я заверну тебя в ковер, вынесу на Мойку и брошу в воду... Ага, стой! Сейчас я выстрелю...

Я был уверен, что он выстрелит, и ждал выстрела всем телом. Но ненависть придала мне мужества, и я сказал:

– Не выстрелишь...

– Почему же? – спросил он насмехаясь. – Что мне помешает?

Варя. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru

– Это пугач, – сказал я.

– Ах, пугач! – повторил он. – Посмотрим, какой это пугач...

Рывком руки он вскинул револьвер и выстрелил. Электрическая лампочка под потолком разлетелась, и мельчайшие осколки стекла посыпались на меня.

– Марш отсюда! – крикнул мне Лева Кравец. – Дрянь!..

Мы оба ушли из банка. Я шел впереди, он – сзади.

9

Я был в отчаянии. Я считал, что дружбе моей с Варей пришел конец. Я не знал, как поправить дело, и думал, что дело непоправимо.

Весь следующий день я напрасно прождал Варю в библиотеке – она не пришла. Я в одиночестве наклеивал ярлычки на книги и, справляясь в каталоге, ставил номера. Но однообразное это занятие не могло заглушить моей тоски.

Однако оказалось, что я ошибался. Через день мы встретились с ней как ни в чем не бывало. Она обращалась со мной совсем как прежде и даже лучше, чем прежде, – с тихой ласковостью. Вообще она вся стала как бы добрее и мягче, и я сразу это почувствовал. Она была переполнена радостью, которая откровенно светилась в ее глазах. Радости было так много, что она готова была щедро уделять ее всем.

Я слышал, как за дверью она говорила что-то приветливое старичку маркеру и даже Марии Васильевне, суровой и немногословной. Она посмотрела ярлычки, которые я наклеивал на книги, и похвалила меня.

– Без тебя я никогда не справилась бы с библиотекой, – сказала она.

Ей, видимо, хотелось сказать мне что-нибудь особенно сердечное, и она прибавила:

– Я так привыкла к тебе, что день не повидаю и начинаю скучать. Я привыкла с тобой разговаривать. Эх, если бы можно было, сколько бы я тебе рассказала!..

Она подошла к зеркалу в библиотечной двери и закружилась перед ним на одной ноге, как не делала уже давно.

Я чувствовал, что стоит мне спросить – и она все расскажет. Но я ничего не спросил. Я догадывался, чему она так рада.

Да она и не таилась. Она любила и гордилась своей любовью. Не раз, просидев за столиком в библиотеке минут двадцать, она вскакивала и начинала кружиться, придерживая двумя пальцами край юбки, поглядывая на себя в зеркало и приговаривая:

– Люблю, люблю, люблю, люблю!..

Лева Кравец заходить в библиотеку перестал, и я долго его не видел. Я тешил себя мыслью, что не приходит он из-за меня. Не знаю, был ли я прав. Одно было мне ясно они где-то продолжали встречаться. И очень часто. Почти каждый вечер.

Варя теперь уходила из библиотеки гораздо раньше. Когда приближался заранее намеченный час, она очень оживлялась и начинала бегать, подпрыгивая, пританцовывая. Потом вдруг с шумом захлопывала толстенную книгу каталога и убегала совсем. Она так торопилась, что забывала даже прикрыть за собой дверь библиотеки, и я слышал, как стремительно стучали ее каблучки, когда она сбегала вниз по мраморной лестнице.

В те дни, когда ей почему-то было невозможно с ним увидеться, она томилась разлукой и бывала со мной особенно ласкова. Одиночество становилось для нее невыносимым, и она льнула ко мне. После работы она предлагала мне пойти с ней погулять.

Помню, как однажды вечером мы гуляли с ней вдвоем по набережной Невы. Уже, кажется, начался сентябрь и быстро темнело, но вечер был теплый и тихий. Она смотрела на темные силуэты зданий, смотрела, как закат, опрокинутый, отражается

Варя. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru
в воде, и говорила:

– Я для него все могу! Я легкая, как пушок. Если бы он сказал: перелети через Неву, я перелетела бы...

Она села на гранит парапета и притихла. Я умолк тоже, сидел рядом и только поглядывал на ее лицо, постепенно расплывавшееся во мраке. Я молчал, взволнованный силой того, что в ней происходило. Я начал даже колебаться в своей ненависти к Лёве Кравцу. Мне трудно было ненавидеть того, кого она так любила.

Я понял, что она украшает его своей любовью, что, каков бы он ни был, он для нее будет отважен, умен, героичен, потому что всей душой она хочет его таким видеть – умным, отважным, героем. Я понял, как необыкновенно щедро любящая душа, как она смиренна, как охотно она признает бесконечные преимущества любимого над собой и награждает его всем самым прекрасным, что только может себе вообразить. Я понял, что увидеть его таким, каким вижу я, Варя не может и что разуверять ее бесполезно.

Вражде моей с ним она не придавала большого значения. Ей все казалось, что это пустяки, которые вот-вот кончатся, и мы станем друзьями. Она надеялась нас примирить и рассказывала мне в библиотеке:

– Я разговаривала с ним о тебе и вижу, что он зла на тебя не держит. Он говорит, что ты щенок, к которому смешно относиться серьезно. Ну что ж, ты ведь и вправду на четыре года моложе его... Я еще с ним поговорю, но сам знаешь, какой это гордый характер, с ним так трудно...

Ей, кажется, действительно порой бывало с ним трудно. Время от времени они ссорились. О каждой их ссоре я узнавал безошибочно. Варя приходила в библиотеку тихая, с осунувшимся лицом, с испуганными, несчастными глазами. Она мучилась, но Лева Кравца никогда ни в чем не винила.

– Его окружают такие грубые люди, – сказала она мне как-то. – С ними немудрено и самому стать грубым...

Когда она усердно отворачивалась от меня, я знал, что на глазах у нее слезы. Листая каталог, я находил на его страницах круглые пятнышки от слезинок. На ее выпуклом детском лбу между бровями появлялась морщинка. Однажды их ссора длилась четыре дня. За эти четыре дня она так изменилась от внутренней муки, что, глядя на нее, я вдруг стал угадывать, какой она станет лет через пятнадцать...

Во время их ссор ненависть моя к Лева Кравцу вспыхивала с новой силой. Но вместе с ненавистью появлялась и надежда, что ссора приведет к разрыву. Однако надежда эта никогда не сбывалась. Они мирились, и Варя опять ходила вприпрыжку, веселая и переполненная любовью, как прежде.

Причины их ссор были мне неизвестны, и я мог о них только догадываться. Несомненно, он нередко бывал груб с нею. Может быть, она ревновала его. Как ни странно, но в их ссорах какую-то роль играла Серафима Павловна. Варя, прежде так ее уважавшая, теперь совсем переменяла о ней мнение и называла ее не иначе, как «эта старуха» и даже «змея». Но, кажется, главная Варина обида заключалась в том, что Лева Кравец не посвящал ее в свою таинственную деятельность.

Этой его деятельности она придавала огромное значение. Время было труднейшее: Деникин захватил весь юг России и двигался на Москву, восток был захвачен Колчаком, север – англичанами, английские военные корабли шныряли по финскому заливу и обстреливали Кронштадт, а в западных уездах Петроградской губернии, хотя и несколько потесненный от города, стоял со своей армией генерал Юденич. Смертельная опасность грозила революции, и мечтательный Варин ум видел выход только в подвиге. Любовь ее тесно сплелась с героическими мечтами, и на Лева Кравца она возлагала горделивые надежды. В том маленьком кругу людей, с которыми ей приходилось сталкиваться, один только Лева Кравец казался ей человеком, способным на подвиг. Ей мерещилось, как она рядом с любимым, деля с ним все горести и опасности, все удачи и неудачи, будет отважно бороться за счастье людей.

Но Лева Кравец упорно отказывался посвятить ее в свою деятельность. Он откровенно давал ей понять, что участвовать в его подвигах она недостойна. Это

Варя. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru
обижало ее, и она не умела справиться с обидой.

Помню, она вошла в библиотеку с загадочным и решительным видом. В руках у нее была черная потертая кожаная сумка, из тех, которые до революции носили барыни и называли нелепым словом «ридикюль». Она села за свой столик и все поглядывала на меня нетерпеливо и многозначительно. Потом вскочила и осторожно выглянула за дверь посмотреть, не стоит ли где-нибудь поблизости Мария Васильевна.

– Пойдем в банк, – шепнула она.

Я удивился. С тех пор, как Лева Кравец перестал бывать в Доме просвещения, мы ни разу не ходили с ней в банк.

– Зачем?

– Есть дело!

Она юркнула в маленькую дверцу, таща под мышкой свой ридикюль. Я послушно пошел за нею.

Она долго водила меня по банку, стараясь найти наиболее глухое место, хотя в банке всюду было одинаково пустынно. Наконец где-то на третьем этаже она завела меня в маленькую комнатенку с окном, выходящим на наш пустой, никем не посещаемый двор. Она поставила ридикюль на стол, открыла его, щелкнув замком, и вынула из него носовой платочек. Потом запустила в ридикюль обе руки, вытащила из него две полные горсти маленьких желтых патронов и высыпала их на стол.

– Откуда это у тебя?

Удивленный и крайне заинтересованный, я взял один патрончик и стал разглядывать, осторожно вертя между пальцами. Она продолжала шарить в ридикюле и вынула из него небольшой револьвер.

– Покажи!

– Восьмизарядный, – сказала она, протягивая револьвер мне.

Я взял револьвер с особой осторожностью.

– Да ты не бойся, – сказала она. – Он на предохранителе. Вот.

Она показала мне, как устроен предохранитель.

– А это барабан. Вертится. В каждой дырочке по патрону.

– Где ты достала?

– Ну, мало ли где...

Но я уже догадался.

– Он тебе дал?

Она покачала головой:

– Нет, он ничего не знает.

– Ты сама взяла? Потихоньку?

Она кивнула.

– У него два. Зачем ему два? Один мне пригодится.

Я стоял изумленный, робко держа револьвер в руке, а она объясняла:

– Он ничего мне не говорит. Он мне не доверяет, он ни во что меня не ставит! А я имею такое же право защищать революцию, как и он. И я хочу быть с ним! Он мне сказал, что я не умею стрелять. А я научусь! Мы с тобой оба научимся!

Все это она проговорила с возмущением. Глаза ее блестели. Она хотела учиться немедленно.

Мы стреляли по очереди в коридоре третьего этажа. Коридор был длинный, довольно светлый, и в нем можно было отмерить любую дистанцию. Мишень Варя устроила из тех же гроссбухов – на переплете каждого была маленькая беленькая наклейка, в которую следовало целиться. Гроссбухи ставились целой пачкой в шесть штук, и пуля, пробив пять, застревала в последнем. Мою руку при выстреле сильно подкидывало, и я редко попадал в белую наклейку. Варя стреляла гораздо лучше меня, у нее рука была тверже и глаз зорче.

10

А через несколько дней мы с Варей разлучились. В школе начались занятия, и я перестал ходить в Дом просвещения.

В тот год школа открылась только в октябре.

Наша школа помещалась на одной из лучших улиц центральной части города и до революции была не гимназией, а коммерческим училищем. Учились в ней мальчики из зажиточных семейств: сыновья биржевиков, оптовых торговцев, крупных лавочников. Учились и сыновья чиновников и офицеров, но мало, потому что чиновники и офицеры предпочитали отдавать своих детей в особо привилегированные учебные заведения, куда допускались только дворяне. Впрочем, в моем классе учился даже один граф с французской фамилией Рошфор. Он очень гордился своим графством и продолжал после революции расписываться в классном журнале, когда приходила его очередь дежурить: «Граф Александр Рошфор». Он и стихи писал, в которых прославлял древность своего рода:

Я – наследный принц Британи,
Кельтский рыцарь граф Рошфор,
Я нашел на поле брани
Золотой Экскалибор.
Его стихи очень нравились мне, хотя и казались иногда непонятными.

Этот Саша Рошфор в младших классах был беленький мальчик, шустрый, веселый, незлобивый, и мы с ним приятельствовали. Он бегал быстрее всех в классе, был удивительно увертлив и упоенно играл со мной в пятнашки и лапту. Когда мы оба стали постарше, дружба наша несколько расклеилась, но приятельство осталось. Летом я не без удовольствия думал о том, что снова встречу его в школе.

За лето он очень вытянулся и изменился. Теперь он носил вельветовую куртку – необычайная роскошь по тем временам, – держался важно и встретился со мной небрежно и отчужденно.

Вообще класс мой – это был уже предпоследний класс в школе – изменился так, что я чувствовал себя в нем совсем чужим. Все лучшие мои товарищи за лето уехали куда-то из голодного города и не вернулись. Появилось много новых мальчиков – из закрытых теперь кадетских корпусов и даже из Пажеского корпуса. Прошлую, страшную для их родителей зиму эти мальчики нигде не учились и потому все сплошь были теперь переростки – старше меня на год, на два. Естественно, что моя репутация первого силача была безвозвратно потеряна, и я больше не имел никаких оснований претендовать на нее.

Теперь самым сильным в классе был бывший паж, сын камергера, Малевич-Малевский. Ему уже минуло семнадцать. Рослый, сухощавый, широкоплечий, он был отлично натренирован, потому что с малых лет играл в теннис. До революции теннис считался игрой аристократической, и играли в него только представители высшего общества. Малевич-Малевский постоянно рассказывал о титулованных чемпионах мирового тенниса, и с уст его то и дело срывались понятные только посвященным словечки, относившиеся к игре: «смэш», «гейм», «сет», «аут», «драйв». В классе он сразу оказался окруженным толпой почитателей, старавшихся заслужить его благоволение. Вновь поступившие, знавшие его раньше, кичились близостью к нему. Многие из моих прежних соучеников тоже примкнули к его кружку. В их числе был и Саша Рошфор.

Ко мне и Малевич-Малевский и весь его кружок сразу отнесся презрительно и враждебно, хотя с моей стороны это ровно ничем не было вызвано. Я был мальчик из

Варя. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru другой среды, и они это безошибочно чувствовали. Кроме того, в школе было известно, что отец мой принадлежал к числу тех, кто, как тогда говорили, «работает с большевиками», то есть попросту служит в советских учреждениях.

Виля Кнатц, учившийся со мной с самого начала, маленький, хилый, веснушчатый нетопырь с огромными просвечивающими ушами, желая подслужиться к Малевичу-Малевскому, сказал ему про меня:

– Он говорил, что бога нет.

Кнатц намекал этим на спор, случившийся весной 1918 года, когда у нас еще не отменили закон божий. На уроке закона божьего я сказал нашему благодушному доброму батюшке, отцу Дмитрию Гидаспову, что не верю в бога. Батюшка, приходивший последнее время в класс с лицом озабоченным и расстроенным, терпеливо и ласково спросил меня, кто же, по моему мнению, создал мир.

– Никто, – ответил я.

– Откуда же тогда все это взялось – земля, небо, солнце, звезды?

Я не имел ни малейшего представления, откуда все это взялось, и совершенно не был подготовлен к такому спору. Поэтому я мог только упрямо ответить:

– Ниоткуда.

На этом я стоял, и скоро мое упрямство начало раздражать его.

– Никто не создавал, – утверждал я. – Сам создался.

– Подумай: может ли быть такое? – сказал отец Дмитрий, начиная горячиться. – Вот нет у меня в кармане четырнадцати рублей. И вдруг я засовываю руку в карман, и там четырнадцать рублей. Может ли это быть?

Для наглядности он нагнулся, высоко задрал полу рясы, под которой, к нашему удивлению, оказались обыкновенные брюки, и засунул руку в карман. Стало ясно, что в кармане у него нет четырнадцати рублей, которые, по-видимому, были ему очень нужны.

Всего этого Виля Кнатц сам не видел, так как принадлежал к реформатскому вероисповеданию и на уроках закона божьего не присутствовал. Но спор этот в свое время произвел большое впечатление на класс и был известен всем.

Малевич-Малевский выслушал Кнатца с презрительной миной. Философская сторона вопроса его нисколько не заинтересовала.

– Э, брось! – сказал он Кнатцу. – Через несколько дней им всем как.

Он повернулся ко мне и крест-накрест провел передо мной рукой по воздуху, словно зачеркнул меня.

И сейчас же все окна школы дружно звякнули и зазвенели от грохота разорвавшегося снаряда.

В ту осень нетрудно было понять, что хотел сказать Малевич-Малевский. Белые прорвали фронт и вдруг снова очутились под самым Петроградом. Они захватили Гатчину, Красное Село, Павловск, Царское Село и вышли к ближайшим пригородам. Они двигались с такой стремительностью, что казалось, никто не может задержать их. Гул орудий был теперь слышен гораздо отчетливее, чем летом во время первого наступления белых на город. Он не умолкал ни днем, ни ночью, все приближаясь, и город прислушивался к нему в ожидании.

Семьи мальчиков, учившихся в нашей школе, были разорены революцией. Революция лишила их привычного уклада жизни, такого для них удобного и выгодного, лишила их настоящего и будущего. Они ненавидели ее до исступления, и только смертельный страх перед нею заставлял их смиряться. Теперь, с громом пушек, к ним вернулась надежда. Отцы и матери моих соучеников считали дело уже решенным и не находили нужным скрывать свою ненависть. Планы чудовищной мести, один кровавее другого, переполняли их души. И всю эту ненависть, всю эту жажду мести их дети приносили

Варя. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru
к нам в школу.

В школе я стал чувствовать себя одиноким, и необходимость ходить туда доставляла мне только мучение. К тому же я очень скучал по Варе. Я знал, что к надвигающимся событиям она относится так же, как я. И однажды после уроков отправился в Дом просвещения, чтобы ее повидать.

В Доме просвещения шла деятельная уборка. Окна, не открывавшиеся два года, были раскрыты настежь, несмотря на то что октябрьский день был дождливый и холодный. Женщины, ютившиеся в людских комнатах возле кухни, мыли стекла. Мария Васильевна властно и негромко отдавала им приказания, и они со страхом поглядывали на нее. Она выбивала пыль из мягкой мебели желтой соломенной лопаткой. Старичок маркер с медными пуговицами натирал паркетные полы. Челядь Алексеевых готовилась к возвращению хозяев и приводила квартиру в порядок.

Оказалось, что все работники Дома просвещения, в том числе и Варя, мобилизованы на оборонные работы.

– Землю копают, – сказала мне Мария Васильевна, пренебрежительно скривив тонкие губы.

Но где они копают землю, она не знала, и я побрел домой.

Я шел по пустоватым улицам, перегороженным баррикадами с маленькими воротцами для прохода. Баррикады сооружены были из рельсов, из досок, бревен и главным образом из мешков с песком. Построили их за несколько ночей женщины – работницы петроградских заводов; каждый мешок с песком волокли издалека на своих плечах, так как в городе не было никакого транспорта: автомобилей насчитывалось несколько десятков, трамваи не ходили, а лошадей либо съели, либо сдали в армию. Окна на углах улиц закладывали кирпичами и оставляли лишь маленькое отверстие, чтобы в него можно было просунуть дуло винтовки. Кучки вооруженных людей стояли у ворот. Рабочие готовились драться в городе, если враг ворвется с улицы. Они готовились умереть за свою революцию, которая была единственным их достоянием.

У нас во дворе, несмотря на унылый дождь и начавшиеся сумерки, мальчики лет восьми играли в войну. Они бегали, стреляли из палок, таскали на палке мокрую красную тряпочку, изображавшую знамя. Они подражали тем уходившим на фронт рабочим отрядам, которых столько прошло мимо нас по нашей улице. У их командира на фуражке была настоящая красноармейская звездочка.

Я увидел эту звездочку, и мне вдруг захотелось иметь ее. Я выпросил ее у мальчишки. И бережно понес к себе наверх.

Я нацепил ее на старую папину парусиновую фуражку и долго стоял в фуражке перед зеркалом. Я себе нравился в таком виде, мне казалось, что лицо мое стало мужественным и что я похож на красного командира. Весь вечер я не расставался с фуражкой и решил, что завтра пойду в ней в школу.

Я знал, что к фуражке с красной звездой в школе отнесутся, как к вызову, но это меня и подмывало. Мне хотелось досадить Малевичу-Малевскому и всем его подпевалам, показать им, что я их не боюсь. Они ненавидят меня, ну что ж, тем лучше, я сам по себе, и пусть они знают это.

В октябре светает поздно, и, когда я отправился в школу, было еще темно. Холодный косой дождь бил в лицо, дул сильный ветер с финского залива. Гром орудий, частый и нестройный, поразил меня: казалось, гремит совсем рядом, в соседнем квартале. При особенно громких взрывах дома явственно вздрагивали вдоль всей улицы, а редкие прохожие останавливались, подняв лицо и прислушиваясь.

На мокром школьном дворе я никого не встретил. В вестибюле стоял швейцар Петя, хранивший наши пальтишки во время уроков, и я отдал ему свою фуражку.

Швейцар Петя, к которому я так пригляделся за школьные годы, что почти перестал замечать его, был какой-то новый, особенный. Под его реденькой, тщательно расчесанной седой бородкой блестело шесть медалей, повешенных в ряд. Я вспомнил, что когда-то уже видел на Пете эти медали, он был старым унтером, участвовал в русско-японской войне и привез их из Маньчжурии. Он носил медали до семнадцатого года и сегодня после двухлетнего перерыва нацепил снова.

Он взял мою мокрую фуражку, чтобы положить на вешалку, но вдруг увидел звездочку и остановился. Он разглядывал ее несколько мгновений с брезгливым видом. Потом сказал:

– Тьфу, гаденыш!

И швырнул мне фуражку назад.

Растерявшись и не зная, что предпринять, я надел фуражку на голову. Конечно, я мог бы снять звездочку. Однако это значило бы, что я испугался. И я пошел вверх по лестнице с фуражкой на голове.

Я спокойно дошел до третьего этажа, где помещались старшие классы. Звонка еще не было, и все мальчики моего класса расхаживали по залу. Я с независимым видом вошел в зал.

Еще не совсем рассвело, в зале было темновато, и вначале на меня никто не обратил внимания. Я направился к своему классу. Но не успел я дойти до классной двери, как меня увидел Виля Кнатц.

– Эге! – сказал он, стоя прямо передо мной и глядя на мою красную звездочку. – Вот чем ты себя разукрасил! Ну, слава богу, теперь, по крайней мере, все ясно. – Он обернулся: – Эдя! Эдя!

Эдей звали Малевича-Малевского. Он стоял спиной ко мне, болтая с тремя приятелями, из которых один был Саша Рошфор, а два других – новенькие, из Пажеского корпуса. Услышав голос Кнатца, Малевич-Малевский повернулся к нему и посмотрел на него пренебрежительно. Все они относились к Кнатцу свысока, несмотря на то что он усердно подлаживался к ним. Но тут Малевич-Малевский увидел меня, мою фуражку и сразу забыл о Кнатце.

Он взмахнул рукой, задел меня пальцами по виску и сбил с моей головы фуражку.

Я нагнулся и побежал за фуражкой, которая катилась все дальше и дальше. Наконец мне удалось схватить ее. Я надел ее на голову и выпрямился.

Малевич-Малевский опять стоял передо мной. И, едва я выпрямился, снова сбил с моей головы фуражку ударом в ухо.

Я уже больше фуражки не подымал. Рассвирепев от боли, я опустил голову, поднял кулаки и бросился на Малевича-Малевского.

Я бил его и сам получал удары, но, охваченный яростью, был к ним совсем нечувствителен. Я знал, что он сильнее меня, и, видя, как он, ошеломленный моим натиском, пятится передо мной, торжествовал. Краем глаза я видел, с каким вниманием следят за нашей схваткой. На побледневшем, красивом лице Саши Рошфора, моего старого приятеля, я заметил даже нечто вроде сочувствия.

Но торжество мое длилось всего несколько мгновений. Стремясь помочь Малевичу-Малевскому, Кнатц внезапно упал мне под ноги. Я споткнулся о него и упал тоже.

И, едва я упал, на меня накнулись все. Толпясь и толкая друг друга, они били меня, топтали башмаками и не давали мне встать. Напрасно хватал я их за руки – меня избивали, и я ничего не мог поделать.

– Вон эту заразу! – крикнул Малевич-Малевский. – Вон эту падаль из школы, чтобы больше здесь не воняло!

И меня потащили. Меня волокли по паркету к дверям, на лестницу.

Я упирался, вертелся, крутился, старался вырваться. Но меня волокли и били, били и волокли. Я уцепился за дверной косяк, и, чтобы оторвать, меня били ногами по рукам. Я хватался за перекладины перил, но меня отдергивали и швыряли все вниз и вниз по ступенькам. Толпа вокруг все увеличивалась, прибежали мальчики из других классов, маленькие и большие, свалка росла. На верхних ступеньках надо мной прыгал и кривлялся Виля Кнатц с моей фуражкой в руках. Он порол ее и уничтожал,

Варя. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiy@nikolai.ru
и гнилая парусина рвалась на части с громким треском. Упираясь и переворачиваясь, я на мгновение увидел среди окружающих меня и Сашу Рошфора. Он не бил меня, но с напряженным вниманием следил, как меня избивают. Заметив мой взгляд, он отвернулся.

Когда я был уже в самом низу лестницы, сверху по ступеням сбежал заведующий школой, называвшийся до революции директором, Василий Васильевич Серениус. Это был плотный волосатый мужчина с рыжей бородой, стоявшей торчком, с очень белыми вставными зубами, в длинном черном сюртуке; крахмальный воротник подпирал ему щеки, крахмальные манжеты сползли на заросшие рыжим волосом пальцы; размахивающий длинными руками, он был похож на орангутанга, разодетого для циркового представления.

– Оставьте! – кричал он еще сверху, стуча башмаками по ступенькам. – Что вы делаете! Вы подводите школу! Неужели вы не понимаете, что ещё рано?

Перед ним расступились, и меня перестали бить. Я лежал, а он боком прошел мимо, вниз по лестнице, брезгливо сторонясь и стараясь не задеть меня ногой.

– Звонок! – закричал он швейцару Пете. – Давай звонок!

И так как Петя был недостаточно проворен, он сам схватил волосатой рукой наш большой медный звонок, поднял его над голову и затрезвонил вовсю.

И под оглушительный этот трезвон чьи-то руки подхватили меня, вытащили за школьную дверь и бросили на мокрый булыжник двора.

11

Я лежал один и даже не пытался подняться, и дождь брызгал мне в лицо. Сколько времени я так провалялся, не знаю. Мне казалось, долго.

Вдруг кто-то нагнулся надо мной и спросил:

– Ты можешь сесть?

Это был ученик старшего класса Алеша Воскобойников – длинный, очень длинный мальчик с узкими плечами, с маленькой головой, белобрысый, с крупным носом и умными глазами. Его называли «штатив» – за то, что он так быстро рос, словно раздвигался. Он очень хорошо учился и в своем классе шел всегда одним из первых. Я мало знал его, как и всех учеников старшего класса.

Он тянул меня за руку. Я сел.

– А встать можешь?

Оказалось, я мог и встать.

Рядом с Воскобойниковым стоял его товарищ по классу Гриша Смуров, коротенький, крепкий, черноволосый, с большой курчавой головой.

– Где у тебя болит? – спросил меня Смуров.

Я весь был в ссадинах, мне было больно всюду, и я ничего не мог ответить.

– Возьмем его с собой, – сказал Воскобойников. – Пойдешь с нами?

– Если он может идти, – сказал Смуров.

Я пошел за ними. Я не знал, куда они идут, и мне было все равно. Но оставаться одному мне не хотелось.

Воскобойников и Смуров провели меня на задний двор, и по железной наружной лестнице мы поднялись в висячую остекленную галерею, называвшуюся по старой памяти оранжереей. До революции здесь действительно стояли кадки с разными южными растениями, которые должны были знакомить учащихся с природой теплых стран. Но прошлой зимой в городе не хватало топлива, растения погибли от мороза, и кто-то порубил их на дрова. Деревянные кадки тоже были сожжены, и теперь сквозь выбитые стекла в оранжерею брызгал дождик и мочил растоптанные пальмовые

Варя. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiy@nikolai.ru
листья на бетонном полу.

В оранжеее нас ждал уже тоненький, хилый мальчик Вася Наседкин, тоже товарищ Воскобойникова по классу. Он сидел на круглом бетонном баке, в котором прежде разводили лягушек для демонстрации разных опытов на уроках зоологии. Теперь и лягушек давно не было, и только на дне бака плескалась мутная вода.

Вася Наседкин поднял на нас глаза, сиявшие за толстыми стеклами круглых очков. Он был слаб зрением и носил такие сильные очки, что глаза за ними казались неестественно большими, словно нарисованными.

– Что с твоим лицом? – спросил Наседкин, взглянув на меня. – Ты весь распух!

– Пустяки, – сказал Воскобойников. – Его избили за то, что он пришел с красной звездочкой. Избили и вышвырнули из школы. Мы нашли его на дворе.

– Он пойдет с нами?

– Не знаю, – ответил Воскобойников.

Воздух вздрогнул от особенно громкого орудийного выстрела, и Смуров поднял голову.

– Где это? – спросил он.

– На Пулковской горе, – сказал Воскобойников. – Где мы на лыжах катались. Где обсерватория. Сейчас они ближе всего к городу под Пулковом.

Перескакивая с одного на другое, они втроем бегло переговаривались о положении на фронте и в городе. Меня они в разговор не вовлекали, так как, видимо, думали, что я после случившегося соображать не в состоянии. А я между тем мало-помалу приходил в себя.

Вслушиваясь в их слова, я постепенно с удивлением стал кое о чем догадываться.

– Куда это вы собираетесь? – спросил я.

– В отряд, – ответил Смуров.

– В какой?

– В комсомольский.

– А вы разве комсомольцы?

– Мы комсомольцы, – сказал Воскобойников. – Ячейка.

– Вот Алеша – наш организатор, – объяснил Смуров.

– Когда ж это вы?

– Мы давно решили, – сказал Воскобойников. – Но связаться с комсомолом долго не умели. В прошлый четверг вступили.

Сейчас, спустя столько десятилетий, кажется странным и неправдоподобным, что в Петрограде через два года после Октябрьской революции существовала комсомольская ячейка, которую с полным основанием можно было бы назвать подпольной. А между тем такая ячейка была у нас в школе. В годы гражданской войны страна была разделена не только фронтами, раздел проходил всюду, и в дни наступления Юденича подростку в центральной части города опасно было громко сказать: «Я – комсомолец».

Синяки мои наливались кровью, и только теперь я по-настоящему почувствовал, как мне больно.

– Я тоже пойду с вами, – сказал я. – В отряд.

– А его возьмут? – спросил Смуров у Воскобойникова. – Сколько тебе лет? –

Варя. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru
повернулся он ко мне.

– Скоро шестнадцать, – сказал я.

– Наседкину тоже еще нет шестнадцати, – сказал Смуров.

– Поговорим с комиссаром, – сказал Воскобойников. – Возьмут.

12

Когда я думаю об отряде, я прежде всего вспоминаю упоительный рыбных запах, который шел от супа, разлитого по нашим котелкам. В нем попадались соломинки, которые можно было обсасывать. Заедали мы его восхитительным хлебом – полфунта в день, – мягким, с поджаристой корочкой, с вкрапленными в мякиш желтыми зернышками пшенной крупы, с жесткими иголочками половы, застревавшими в зубах.

Мы хлебали суп, сидя на грязном паркете в зале ободранного особняка, на стенах которого еще сохранились лепные голые нимфы, но вся мебель была сожжена. Вдоль стен стояли наши винтовки, сложенные в козлы.

Отряд наш состоял из ста двадцати подростков, почти сплошь детей заводских рабочих с Выборгской стороны. Отцы их и старшие братья воевали уже давно, а теперь по комсомольской мобилизации пошли и они. До чего они не были похожи на солдат, эти подростки девятнадцатого года, шедшие защищать революцию! Выросшие в годы войны, голода, лишений, они были истощены до предела. Семнадцатилетние парни казались мальчиками тринадцати лет. Бледные, землистые лица с острыми подбородками, синеватые губы, тощие шеи, торчавшие из слишком широких воротников. Обмундирования нам не выдали никакого, и все были в своем: ситцевые рубахи с косым воротом, рваные фуфайки, зипуны, протертые пиджаки с заплатами на локтях, кепки, почерневшие от дождей и пота, короткие солдатские штаны, заношенные еще отцами, обмотки и страшные, разваливающиеся, гниющие от вечной сырости башмаки, подвязанные веревками. И все-таки были они бодрые, часто шутили и, казалось, не замечали всей тяжести своей доли. Полная лишений жизнь была для них привычной, они никакой другой не знали. Они ненавидели врагов революции и шли защищать советскую власть, потому что для них это было естественно, и относились они к этому прежде всего как к делу, практически.

Была в отряде и кучка девушек – кто в красных платках, кто в серых шерстяных. Девушкам тоже даны были винтовки, и их обязанности в отряде ничем не отличались от наших обязанностей. И они не только ни в чем не отставали от нас, но бывали порой выносливее, упорнее, понятливее. Они казались взрослее окружавших их мальчишек. Было среди них несколько особенно рослых и плотных, выделявшихся своей силой, насмешливых и смешливых, раздававших парням тумачи, переговаривавшихся звонкими, веселыми голосами.

Первое время мы, четверо школьников, держались особняком и жались друг к другу. Мы были мальчики из интеллигентных семей, а в первые годы революции социальные различия были несравнимо заметнее, чем теперь, спустя столько лет. Одеты мы были не лучше остальных, так же голодны и все же выделялись начитанностью, привычкой к другому жизненному укладу, речью. Дольше всего косились на Васю Наседкина: он единственный во всем отряде носил очки. Но недружелюбного отношения к нам не было. И скоро нас вполне объединили со всеми и общая жизнь и общая молодость.

В то время молоды были не только мы, но и сама революция. С отвагой молодости строила она новый мир, в котором все, что совершалось, совершалось в первый раз. И ее деятели, воины, строители, защитники были в подавляющем большинстве очень молодые люди. Нашему комиссару шел двадцать второй год. А он был самым старшим по возрасту в отряде. Командиру шел двадцать первый.

Они были для нас, подростков, не только руководителями, но и просто взрослыми людьми. Когда они в узеньких ремнях портупей, в начищенных кавалерийских сапогах входили в зал, где мы сидели на полу, мы, вскакивая, ощущали настоящий трепет. Перед командиром мы этот трепет ощущали постоянно, и он всегда оставался для нас несколько чужим. Но с комиссаром было иначе. Он часто подсаживался к нам, болтал с нами, смеялся и вдруг оказывался таким же мальчишкой, как и мы.

От него мы всегда узнавали, что происходит. Битва под Пулковом продолжалась уже четвертые сутки. Было явственно слышно, как она разгорается: мы следили за грохотом артиллерии, и он становился все гуще, он сливался в сплошной вой.

Варя. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru

Иногда нам слышалось, будто грохот приближается. Но всякий раз оказывалось, что это только усилился ветер, а когда ветер спадал или менял направление, грохот боя опять становился таким же, как прежде, – приглушенным далью. Четверо суток белые, стоявшие под городом, рвались в город и не могли продвинуться ни на шаг. Они никак не могли прорвать нашего заслона, и то, что это затянулось на четверо суток, подогревало нашу надежду.

Обе стороны бросали в битву все новые силы, и наш отряд был создан для того, чтобы участвовать в ней. Однако мы были совсем не обучены и ничего не умели. Мы ждали отправки на фронт с минуты на минуту, но нас все задерживали, чтобы хоть немного подучить. И каждое утро, вместо того чтобы отправиться на фронт, мы шли на дровяной склад по соседству – обучаться строю и штыковому бою.

На просторном дворе дровяного склада, покрытом толстым, оседавшим под ногами слоем смешанных с грязью опилок, давно уже не было ни одного полена и валялась только мокрая береста. Каждый день, приходя до рассвета и уходя в темноте, мы там под неутраченным дождем строились, рассчитывались на первый-второй, вздваивали ряды, шагали, бегали, кололи штыками невидимого неприятеля. Измученные, голодные, мы возвращались на ночь в отведенное нам помещение и засыпали на полу не раздеваясь.

Я помню ночь, когда стало казаться, что белые вот-вот ворвутся в город – через час, через два. Мы спали тревожно, прислушиваясь к нараставшему грому орудий. Мы безошибочно чувствовали, что битва под городом достигла высшего своего напряжения. Неужели заслон наш не выдержит, будет смят, отступит? Может быть, белые уже входят в город там, на юге, возле Московской заставы? Каждую минуту мы ждали, что нас подымут по тревоге и выведут, чтобы драться на улицах.

Однако, помню, Воскобойников, с которым я спал в обнимку, чтобы было теплее, понимал все происходившее по-другому.

– Это бьют наши пушки, – утверждал он. – Неужели не слышишь? Это мы бьем, мы!

И действительно, ко второй половине ночи рев орудий не только не сделался громче, но, напротив, стал глуховатым и отдаленным. И все удалялся, стихал, и утром уже нужно было напрячь слух, чтобы расслышать его. А после подъема мы узнали от комиссара, что ночью освобождено Царское Село.

Это было немного – и это было огромно. Враг отодвинут всего на несколько километров, он еще совсем близко, но в город ему ворваться не удалось. Он потеснен впервые с начала своего наступления, и, значит, он не так уж силен и мы не так уж слабы. Ошиблись все те, которые думали, что с революцией уже покончено, ошибся Малевич-Малевский, избивший меня... В то же утро мы узнали, что последний раз идем на дровяной двор и что завтра выступаем на фронт.

Дровяной двор был отделен от улицы дощатым забором с множеством широких проломов, и там, позади забора, постоянно темнела кучка женщин, следивших за нашим учением. По большей части это были матери, пришедшие посмотреть на своих сыновей. Несколько раз приходила к забору и моя мать с моей маленькой сестренкой на руках. Я сразу замечал ее, потому что все остальные женщины были в платках, а она носила шляпку, купленную в девятьсот пятнадцатом году.

Но мамы моей у забора не было, когда в последний день наших занятий после команды «вольно» ко мне подошел Воскобойников и сказал:

– Там одна все смотрит на тебя. Заметил?

Я глянул на забор и увидел Варю.

13

Не могу передать, как я обрадовался, увидев ее. Я даже сам удивился, что так обрадовался. Тут только я почувствовал, как привык к ней за месяцы совместного сидения в библиотеке и как мне ее не доставало в эти последние, трудные для меня дни. Она сама меня разыскала, сама пришла, чтобы повидаться со мной!.. Я пролез через дырку в заборе и подошел к ней.

– Вот ты какой!

Варя. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru
Она впервые видела меня с винтовкой за плечами. Вероятно, я показался ей повзрослевшим, и ее восклицание польстило мне.

Она тоже изменилась, хотя мы не виделись с ней каких-нибудь три недели. Голова и плечи ее были закутаны в мокрый рваный шерстяной платок. Лицо не казалось больше ни таким белым, ни таким круглым. Маленький носик заострился. В глазах, приветливо смотревших на меня, я заметил усталость и беспокойство.

– Вы долго здесь будете? – спросила она.

– Мы завтра уходим на фронт, – ответил я, понизив голос. – Рано утром.

Она взглянула за забор и сказала:

– У вас есть и девушки.

– Да. Девять девушек.

– Они тоже пойдут с вами?

– Конечно.

Помолчав, она спросила:

– Послушай... А мне можно?..

Я сразу понял, чего она хочет. И все возликовало во мне: она будет со мною в отряде! Мы завтра отправимся вместе, и она все время будет рядом... Но можно ли?.. Как это сделать?..

И я сразу принялся действовать.

– Алешка! – крикнул я.

Маленькая голова Воскобойникова торчала над забором. Он с любопытством разглядывал нас. Когда я его окликнул, он нагнулся, пролез в дырку и подошел. Я их познакомил и стал просить его помочь устроить Варю в отряд. Комиссар знает его гораздо лучше, чем меня, и непременно с ним посчитается.

– Я за нее ручаюсь! – пылко говорил я торопясь. – Я с ней работал и все про нее знаю. Ее отец был большевик, сидел на каторге и прошлый год убит в бою. Нужно, чтобы она пошла с нами!

Воскобойников внимательно оглядел ее.

– Хорошо, – сказал он. – Я пойду спрошу комиссара.

Он уже нагнулся, чтобы нырнуть в дырку.

– Постойте... – остановила его Варя. – Я не одна... Есть еще человек...

Я сразу понял, о ком она говорит, и вся радость моя погасла: опять Лева Кравец... Она хочет, чтобы Лева Кравец пошел с нами... Не будем мы с ней вместе, не будем вдвоем. Всюду с нами потащится Лева Кравец...

– Зачем ему к нам в отряд? – спросил я. – Да он и сам не захочет.

– Нет, он хочет, хочет! – сказала она торопливо. – Конечно, его не отпускают, но он говорит, что в такое время не может сидеть в городе. Я сегодня его видела, и он сказал, что хочет в отряд, и просил меня найти тебя... Это замечательный человек! – говорила она, обращаясь к одному Воскобойникову, так как верила, что от него все зависит. – Большой человек! Он мог бы у вас быть комиссаром, кем угодно, но он хочет пойти рядовым бойцом...

– Ты знаешь его? – спросил меня Воскобойников.

Она не дала мне ответить.

Варя. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiy Nikolai.ru

– Он знает, знает! – сказала она поспешно. – Мы все трое друзья – Коля, я и Лева.

– Правда? – спросил меня Воскобойников.

Она умоляюще на меня взглянула.

– Правда, – сказал я.

И Воскобойников пошел к комиссару. Через десять минут он вернулся и сказал, что комиссар сам хочет повидать обоих.

– В общем, я ему напел, и он согласился, – сказал Воскобойников. – Только приведите вашего парня не позже чем через два часа.

Варя сразу же заторопилась и забеспокоилась. Оказалось, она не была уверена, найдет ли Леву Кравеца за два часа. Он так редко бывает дома... Она сунула мне руку и побежала. Но сразу остановилась.

– Слушай... Пойдем со мной... – попросила она.

– Зачем? – удивился я.

– Я хочу, чтобы ты ему сам все сказал.

– А тебе он разве не поверит?

– Нет, поверит, конечно. Но будет беспокоиться. Он стал такой нервный, беспокойный... Он на меня кричит.

– Чего ж он беспокоится? – удивился я.

– Ну, просто у него нервы не в порядке... Трудная работа, и он изнервничался... Если ты ему скажешь, будет совсем другое дело... Пойдем!

У меня не было ни малейшего желания видеть Леву Кравеца. Но я никогда не умел отказать Варю, если она меня просила.

Меня отпустили. И мы пошли.

Снова шагал я с Варей по фонтанке к далекому дому Левы Кравеца. Шел дождь, совсем стемнело, и очертания огромных зданий смутно вырисовывались на темном небе. Город жил без электричества, и мутные огоньки, которые кое-где мерцали в окнах, были еле различимы. Прохожих мы почти не встречали. Изредка, мерно шагая, проходил патруль – несколько человек с винтовками за плечами. У меня за плечом тоже была винтовка, и благодаря ей я с гордостью чувствовал, что иду по родному городу уже не мальчиком, а мужчиной.

Варя не поглядывала на номера домов, как в прошлый раз, потому что дорога была ей хорошо известна. Она быстро шагала впереди, я еле поспевал за ней. Уверенно свернула она под арку дома, где жил Лева Кравец. Во дворе она остановилась и, подняв голову, стала разглядывать его окна.

– Нет света, – сказала она.

Было еще слишком рано, чтобы там могли лечь спать. Быть может, мама Левы Кравеца ушла из дому?

– Нет, она в темноту никогда не выходит, – сказала Варя.

Мы стали подыматься по лестнице. Несомненно, эта лестница была теперь хорошо известна Варю, так уверенно она по ней шагала. Она первая дошла до квартиры Левы Кравеца и дернула звонок.

Звонок задребезжал на всю лестницу, но нам никто не открыл. Мы стояли перед запертой дверью и прислушивались. Варя звонила еще и еще. Было мгновение, когда мне показалось, будто я слышу за дверью чьи-то шаркающие шаги. Мы подождали. Но нам опять никто не открыл. А между тем у меня было такое чувство, что кто-то

Варя. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru
стоит за дверью, очень близко. Мне даже чудилось, что я слышу через дверь чье-то дыхание. Мы звонили, ждали, опять звонили.

– Пойдем, – сказал я, не выдержав.

– Куда? – спросила Варя. – Я не знаю, где его искать.

В голосе ее звучало отчаяние.

– Пойдем, – настаивал я и стал спускаться по ступенькам. – Там подумаем.

Она колебалась. Потом нерешительно пошла за мной.

Не успели мы спуститься до следующей площадки, как в двери что-то звякнуло. Мы остановились. Дверь чуть-чуть приотворилась.

– Это ты, Варя?

Варя стремительно бросилась к двери.

– Он дома?

– Нет. С третьего дня не приходил.

– Отчего вы не открывали? Отчего вы впотьмах?

– Тсс!

Стоя на пороге, мать Левы Кравеца недоверчиво разглядывала меня. И не узнавала. В сумраке она видела мою винтовку.

– Да это Коля, – сказала Варя. – Помните, приходил со мной?

– А! Входите.

Мы вошли в кухню, и мать Левы Кравеца заперла дверь. Здесь по-прежнему пахло ванилью.

– Они были здесь! – сказала она.

– Кто?

– Из чека.

– Да ну! Давно?

– Недавно. Часу нет, как ушли. Четверо. Один молодой, в форме, и трое рабочих. Рабочие – старики.

– Это ошибка! – сказала Варя убежденно. – Не его они искали. Не могли они его искать.

– Они про него спрашивали... Почему нет дома, куда ушел... А я разве знаю? Он мне ничего не рассказывает...

– Долго они были?

– Часа полтора. Все перерыли. Думали найти оружие. А какое у нас может быть оружие? У нас в доме один нож, да и тот такой тупой, что картошки не очистишь.

– Глупость! Одна глупость! – сказала Варя. – Не стоит и вспоминать. Сейчас всюду идут обыски, по всему городу. В городе полно бывших, они ждали белых и хотели ударить нам в спину. Теперь рабочие ходят по квартирам, вылавливают... Вот и к вам зашли... Видно, ходят наугад... А надо бы им знать!.. Неужели они не понимают, какое наносят ему оскорбление!..

Она проговорила это гордо и уверенно. Потом, в темноте, усадила Левину маму на табуретку, и села с ней рядом, и стала утешать ее, и успокаивать, и убеждать,

Варя. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolaï.ru
что нечего бояться. Из их разговора я понял, что они уже очень хорошо знакомы, что их объединяет и крепко связывает общая любовь к Леве Кравцу. Они с общей тревогой говорили о том, что он плохо питается, и нервничает, и худеет, и на фоне чуть светлевшего в темноте окна я видел, как пожилая женщина гладила Варю ладонью по щеке. И хотя я не любил Левы Кравца, я был тронут их любовью, заботливой, доверчивой и бескорыстной.

Узнав, что Лева завтра уйдет на фронт, его мать опять завздохала.

– Он обязан, это его долг, – объясняла ей Варя. – Там он будет со мной, – успокаивала она ее.

И мать умоляла Варю следить за тем, чтобы он ел и не простужался, не уставал, не мок, не спал где попало... Но Варя уже очень торопилась, ей нужно было найти его во что бы то ни стало, они поцеловались, и мы ушли.

За воротами, на набережной Фонтанки, Варя остановилась. Где искать его? Она знала два-три места, где он иногда бывал, но понимала, что у нее очень мало шансов застать его там сейчас. Да и с чего начать? Она стояла колеблясь и раздумывая.

Из темноты кто-то подошел к нам. Луч, падавший из освещенного окна, блеснул на мокрой кожаной куртке. Лева Кравец.

Мне пришло в голову, что он, вероятно, все время стоял где-то тут, возле ворот, потому что я не слышал шагов. Он, видимо, внимательно нас осмотрел, прежде чем подойти. Мне он вяло протянул мокрую от дождя руку. С Варей не поздоровался.

– Ну как? – угрюмо спросил он ее.

– Мы с тобой должны сейчас же явиться к комиссару отряда.

– Возьмут?

– Обещают. Вот Коля тебе все расскажет...

Но он не собирался меня слушать.

– Когда уходим из города? – спросил он Варю.

– Завтра утром.

Он оживился и явно обрадовался.

– Пошли! – сказал он. – Скорей!

– А ты не зайдешь на минуту к маме?

– Нет, – ответил он резко.

– Знаешь, у вас там по ошибке сделали обыск...

– Пойдем, пойдем! – перебил он ее.

14

Отряд шагал по мокрой грязной земле, по жидкой глине, сквозь тонкие осенние леса, уже почти голые. Ночи были длинные, рассветало всего на несколько часов. И постоянно шел дождь, и мы зябли даже у костров, потому что мокрые сучья едва тлели.

Все время впереди мы слышали грохот боя, но сколько мы ни шагали, он не становился ближе. Враг отходил, отползал от города. Он отползал медленно, но и отряд наш двигался медленно: мы шли пешком, и нас то и дело задерживали в пути. Несколько суток мы грузили в железнодорожный состав дрова, которые необходимо было доставить в город. Потом помогали восстанавливать сожженный белыми железнодорожный мост. Когда мы сложным круглым путем дошли наконец до Гатчины, она была уже освобождена и бой гремел где-то впереди, за лесом.

Варя. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru

В Гатчине нам выдали шинели с захваченного у белых склада. Это была моя первая шинель в жизни и моя первая война. Впоследствии, в иные годы и в ином возрасте, мне, как всем русским людям моего поколения, пришлось участвовать и в других войнах. В тех, других, более поздних войнах мы были по-другому одеты и по-другому вооружены, много разных боевых машин служило нам, и воевали мы по-другому. Но то, за что мы воевали, оставалось тем же самым: революция, родина. И та же любовь воодушевляла нас, и та же ненависть, и враг был, по существу, тот же, и та же партия вела нас к победе.

Комсомольский отряд наш с каждым днем менялся, он вошел в состав Седьмой армии и был уже не отрядом, а батальоном одного из красноармейских полков. Постепенно в него влилось много новых бойцов, и совсем не комсомольского возраста. Но я, по правде сказать, не знал ни армии, ни полка, ни даже батальона, а знал один только свой взвод, которым теперь командовал Алеша Воскобойников. Во взводе этом были и Гриша Смуров, и Вася Наседкин, и Варя, и Лева Кравец.

Мы не разлучались никогда, в одних и тех же ямах прятались от ветра, грелись у одного костра. Варя была единственной девушкой во взводе и жила такой же жизнью, как и мы: носила такую же шинель, тащила такую же винтовку, шагала по той же грязи. Длинную косу свою, скрутив на затылке, прятала она под суконый красноармейский шлем. Ко мне она по-прежнему относилась приветливо и дружелюбно. Так же ровна и дружелюбна была она и со всеми во взводе. Только одного человека она выделяла – Леву Кравца. И все это знали, потому что она ничуть этого не скрывала.

Она всегда была рядом с ним. Когда мы брели по растоптанной дорожной грязи, она не отставала от него ни на шаг. Суп они хлебали из одного котелка. Она подыскивала ему лучшее место у костра, следила, чтобы он не обжегся, не ушибся, не сел на мокрое, не выпачкался. Укладываясь спать, она прежде всего приготовляла для него постель из веток и листьев, по многу раз спрашивала, удобно ли ему, а сама устраивалась где-нибудь поблизости, свернувшись клубочком и подложив кулачок под голову.

К ее заботе о нем он относился как к чему-то само собой разумеющемуся и не выражал благодарности, принимая ее услуги. Даже разговаривал он с ней неохотно и морщился, если она о чем-нибудь его спрашивала. «Отстань», «Не суйся», «Без тебя знаю». Он говорил это тихо, вполголоса, и она тревожно оглядывалась, не слышал ли кто-нибудь, так как не хотела, чтобы о нем подумали скверно.

– Он очень устал, – говорила она нам в его оправдание, хотя причин для усталости у него было не больше, чем у остальных.

Лева Кравец поминутно озирался, оглядывался. Всякий раз, когда во взводе появлялся новый человек, он начинал беспокоиться. Вообще он был очень пуглив как раз тогда, когда, казалось бы, пугаться было нечего. Фронта же, войны, встречи с неприятелем он не боялся нисколько.

Напротив, он часто жаловался, что мы идем, идем, а дойти до передовой не можем. Когда нас заставили грузить дрова, он не скрывал своего недовольства, ворчал и все спрашивал Воскобойникова, скоро ли нас отправят дальше. Слыша гул пальбы, он двести раз задавал мне вопрос:

– А сколько, по-твоему, отсюда верст до белых? А если напрямик? А если пойти наперерез, через болота?

В первой же стычке он доказал, что не боится врага и рвется в бой даже до безрассудства.

Наш взвод шел по дороге, и вдруг нас обстреляли сбоку беглым винтовочным огнем. Мы залегли в канаву и осмотрелись.

В сотне сажен от дороги темнел густой еловый лесок. Белые, обстреливавшие дорогу, сидели там, в елках, и рассмотреть их было невозможно. Между дорогой и елками лежало болотистое поле, поросшее кое-где кустами ольхи, уже почти облетевшими. Воскобойников колебался, не зная, как поступить: боевого опыта он не имел никакого. Непонятно было, каким образом белые попали в лесок: фронт впереди, и еще вчера по этой дороге без помехи проходили красные части. Это какая-нибудь заблудившаяся при отступлении кучка белых солдат? Или, напротив,

Варя. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiy Nikolai.ru
белые нарочно проникли сюда, чтобы перехватить дорогу и помешать движению наших войск?.. Немного помешкав, Воскобойников решил сделать попытку выбить белых из леса.

Мы растянулись длинной редкой цепью и поползли через поле, стараясь держаться под прикрытием жидких кустов. Огонь белых сразу усилился – весь лес нестройно затрещал выстрелами, как разгорающийся костер. Ольховые прутья, срезаемые пулями, падали нам на спины. Оказались раненые, сначала один, потом другой... Чем дальше мы ползли, тем реже становились кусты. Воскобойников дал нам знак остановиться. Да мы остановились уже и сами.

Мы лежали и стреляли по елкам наугад, понимая, что в этом нет никакого смысла. И вдруг я увидел, что кто-то – один из нас – продолжает ползти вперед.

Сначала я не знал, кто это: я видел только серую шинель, движущуюся в мокрой траве. Шинель уходила все дальше и дальше к елкам, мелькая в прозрачных кустах, и следить за ней было жутковато, потому что кусты вот-вот кончались и за ними начиналось ровное открытое пространство, доходившее до самых елок.

Варя вскрикнула, и тогда я понял: это ползет Лева Кравец.

– Назад! Кравец! Назад, тебе говорят! – закричал Воскобойников.

Кравец находился шагов на пятьдесят впереди нас. Услышав крик Воскобойникова, он перестал ползти и повернул к нам лицо. Потом, словно поколебавшись, пополз дальше, к елкам.

– Назад! – кричало ему уже несколько голосов.

Белые, слышавшие крики и, по-видимому, наблюдавшие за тем, что произошло, прекратили стрельбу.

– Назад! – крикнул Воскобойников. – Ты что, уйти хочешь? Вернись или застрелю!

Это подействовало. Лева Кравец, в последний раз взглянув на елки, повернулся и пополз назад, к нам.

И, едва он повернул, в елках опять затрещали винтовки. Он полз, приближаясь, и мы видели, как от пуль вздрагивали стебельки травы у его головы и ног.

– Ты что, обалдел? – накинулся на него Воскобойников, когда он оказался с нами в кустах. – Куда ты полз?

– Помешали... Не дали... – угрюмо сказал Кравец, подняв на Воскобойникова хмурое, грязное лицо. – Я дополз бы вон до той елки... Мне всего шагов сто оставалось. Я дал бы по ним оттуда!.. И мы вошли бы в лес... Помешали...

И он показал Воскобойникову одинокую ель с толстым стволом, которая стояла посреди поляны, словно выйдя из леса. И всем нам подумалось, что план у него был не такой уж глупый. Если бы ему удалось залечь за этой елкой, он своей винтовкой заставил бы белых отойти от опушки, и мы вошли бы в лес...

Тем временем весь наш батальон показался на дороге, и стрельба из лесу сразу прекратилась. Нас теперь стало много, и мы пошли прочесывать лес. Но белые успели уйти, и в лесу мы не нашли ничего, кроме блестящих там и сям стреляных гильз.

В елках наткнулся я на Леву Кравца и Варю. Она шла рядом с ним, двумя руками держа его за рукав. Она все еще была под впечатлением недавней опасности, ему угрожавшей, и его подвига.

– Ну что, видел? – спросила она меня с вызовом, повернув ко мне бледное лицо. – А были люди, считавшие его трусом...

После этого случая обстоятельства сложились так, что я стал меньше встречаться и с Варей, и с Кравцом, и со всеми моими товарищами по взводу. Дело в том, что я увлекся батальонными лошадьми. У нас в батальоне было три лошади, и мне с Васей Наседкиным было поручено пасти их по ночам. Этого поручения мы с Васей упорно

Варя. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru
добивались, и добились не без труда.

Когда батальон двигался, лошади шагали сзади, таща телеги с разным батальонным имуществом. На привалах, остановках и ночевках их распрягали. Как-то раз на привале нам с Васей удалось взобраться на них и проскакать версту верхом. Это решило нашу участь. Мы увлеклись лошадьми со всем жаром пятнадцатилетних мальчишек, которым никогда до тех пор не приходилось садиться на коня верхом. И выпросили себе у начальства право заботиться о них ночью, в те часы, когда их распрягали.

Жизнь наша изменилась, стала ночною жизнью. Днем мы с Васей при первой возможности забирались куда-нибудь на сеновал, на чердак и спали там, обнявшись, по многу часов. Ночи мы проводили в лесу, с лошадьми. Я так привязался к этим лошадям, столько им отдал души, что и сейчас, спустя десятилетия, помню каждую из них до мельчайших подробностей. Они были тощи, армейские лошади тех лет. Вся кожа их была в потертостях и болячках, вся в пятнах от парши. Бока и ноги их были исковерканы тяжелым трудом. Помню их жаркое шумное дыхание, помню, как печально мотались на ходу их большие, тяжелые головы с мягкими губами и кроткими, все понимающими глазами. Кобылку звали Машкой, старого мерина – Кирюшей, а мерина помоложе и покрепче – Васькой. Наседкина, который возился с этим Васькой, тоже звали Васей, и это рождало много незатейливых шуток.

Близорукий Вася Наседкин, в очках, верхом на коне, действительно был очень забавен. Это был городской, комнатный, книжный мальчик слабого здоровья, меньше всех остальных приспособленный к той жизни, которую мы вели. Однако, как многие в те годы, он обладал удивительной способностью преодолевать волей свою слабость. В нем жила пылкая любовь к правде, к жизни, к разуму, к людям, к животным, и он умел бороться за то, что любил, не щадя себя.

Лошади, похрустывая в темноте, щипали траву, изредка перебирая связанными ногами, а мы сидели на их спинах, безуспешно борясь с дремотой. Будили нас мокрые ветки, хлеща по щекам. Но, бывало, заснешь так крепко, что проснешься, только свалившись с лошади набок да вдобавок получив по загривку собственной винтовкой. Мы очень зябли: ночи были уже холодные, ветреные, перед рассветом все покрывалось инеем, и тонкий ледок тускло поблескивал на лужах болот. Разводить костер мы не осмеливались, потому что фронт не имел точных очертаний и белые в лесу могли оказаться совсем рядом. От холода нас спасали те же лошади: они ложились в траву, и мы укладывались между ними, прижимаясь к их горячим, как печи, бокам.

Каждую ночь мы ночевали в другом месте, потому что белые продолжали отступать, и батальон наш двигался вперед, проходя через сожженные дотла деревни. Я помню, одна ночь была особенно темной, мы не видели собственных рук, а лошади почему-то вели себя беспокойно и все кидались в разные стороны. Машка прерывисто ржала, и это было очень некстати, потому что в ночной тишине ржание разносилось на много верст кругом. Мы утомились, бегая за лошадьми по кустам, и потратили много усилий, чтобы перед рассветом уложить их.

Я заснул сразу и проснулся оттого, что Наседкин толкнул меня кулаком в бок. Ночь еще не кончилась, но чуть-чуть посветлело, и очертания деревьев выступили из тьмы.

Я безошибочно почувствовал, что Наседкин охвачен ужасом, и ужас его мгновенно передался мне.

– Смотри, – прошептал он. – Великаны..

Но я уже видел и сам. Под ветвями сосен, справа от нас и слева, стояли люди, отличавшиеся от обычных людей тем, что были выше ростом по крайней мере на аршин. Сумрак мешал разглядеть, сколько их было, но я чувствовал, что их много, очень много.

Тут налетел порыв ветра и закачал вершины, и великаны вокруг закачались. Это были жители целой деревни, повешенные белыми при отступлении. Они казались такими большими потому, что ноги их не доставали до земли.

И лошади наши вскочили и, стреноженные, заковыляли прочь, и мы с Васей побежали за лошадьми, не смея дышать от ужаса.

15

А Лева Кравец все-таки удрал.

Побег его начался еще в Петрограде. Всю весну, и лето, и осень он был уверен, что белые войдут в город, он не сомневался в их победе, он ждал их и готовился им помочь. Но он просчитался: под Пулковом войска Юденича были разбиты и покатались на запад. Он понял, что оставаться в городе для него опасно, что его ищут и найдут, и вступил в наш отряд. Это был единственный оставшийся ему выход. Отряд увел его из города, и с самого начала похода он искал случая перебежать к белым.

Мы уже много раз были в боях, много раз видели врага лицом к лицу, однако то ли случаи казались ему неподходящими, то ли решимости не хватало, но он все откладывал свой побег. Решился он только, когда мы находились уже за рекой Лугой и поджимали белых к самой эстонской границе.

Накануне произошло событие, которое, по-видимому, произвело на него огромное впечатление. Нашему батальону, насчитывавшему всего около ста штыков, сдалась в плен группа белогвардейских солдат числом больше трехсот. Они убили своих офицеров, мешавших им перейти на нашу сторону, и принесли нам их трупы в доказательство своей искренности. И стало ясно, что армия Юденича доживает последние дни. Солдаты, насильно мобилизованные, перейдут на нашу сторону, а офицеры попытаются улизнуть за границу. И Лева Кравец понял, что медлить ему больше нельзя.

На рассвете его послали вместе с Гришей Смуровым собирать хворост для костра. Что у них там произошло, неизвестно; возможно, Смуров что-то заподозрил и пытался его остановить. Кравец пырнул Смурова штыком и побежал в глубь леса. Смуров перед смертью успел крикнуть, и у костра этот крик услышали.

Раньше всех до Смурова добежала Варя. На ее крик сбегались все. Гриша Смуров лежал ничком в траве, и над ним стоймя торчала винтовка Кравца, пригвоздившая его штыком к земле.

Варя первая кинулась в погоню. За ней побежал и весь взвод, рассыпавшись по лесу.

Мы с Васей Наседкиным ничего этого не видели и не знали, так как пасли лошадей и только еще собирались гнать их в батальон. В то утро дул сильный ветер, срывая с осин и берез последние листья, весь лес шатался и шумел, и, хотя до костра нашего взвода было недалеко, мы ничего не слышали. Внезапно, проламываясь сквозь кусты, на нас набежал Воскобойников и с ходу вскочил верхом на Кирюшу.

– Удрал Кравец! – крикнул он нам и поскакал.

Я мгновенно все понял. Потом, вспоминая, я сам удивлялся, как это я сразу все понял, с одного слова. Ведь не знал же я заранее, что Кравец собирается перебежать к белым. Безусловно не знал. Мне это и в голову никогда не приходило. Однако, по-видимому, я в глубине души считал его на это способным, потому что, узнав,нисколько не удивился.

Мы с Наседкиным поскакали за Воскобойниковым, потом то разъезжались в разные стороны, то опять съезжались. Рыскали мы по лесу наугад, так как представления не имели, в какую сторону побежал Кравец. Мы неслись сквозь ветер и мокрые прутья, затем, сообразив, что он не мог за такое короткое время уйти далеко, возвращались. То там, то сям мы встречали наших товарищей, потому что в поисках принимал участие весь взвод. Все они видели убитого Смурова, и подлое это убийство ожесточило их.

Наседкин наскочил на Кравца совершенно случайно. Верхом на Ваське он продирался сквозь густые заросли низкорослого ельника и вдруг увидел, что рядом, справа, в двух шагах, стоит Кравец и, подняв руку, целится ему в голову из револьвера. Наседкин, чтобы уклониться от выстрела, прыгнул на землю влево, и конь заслонил его от Кравца. Наседкин начал снимать винтовку с плеча, но Кравец, стремясь его опередить, побежал вокруг лошади. Наседкин, держа лошадь за узду, вертел ее, заслоняясь ею; однако Кравец оказался проворнее и через полминуты, обогнув лошадиный хвост, очутился рядом с Наседкиным.

Не больше трех шагов отделяло их друг от друга. Револьвер Кравеца смотрел Наседкину прямо в лицо, и Наседкин знал наверняка, что он сейчас выстрелит.

Выпустив узду, Наседкин прыгнул вперед и ударом кулака выбил револьвер из руки Кравеца. Кравец, не ждавший этого, выстрелить не успел, и револьвер взлетел высоко вверх, описал в воздухе дугу и упал по ту сторону лошади. Кравец его не искал. Повернувшись к Наседкину спиной, он побежал прочь, в кусты. Наседкин прыгнул за ним, скинув с плеча винтовку.

Но тут с Наседкиным случилась беда: он потерял очки. Они при прыжке не удержались на носу и упали в траву. И Наседкин ничего уже больше не видел вокруг, кроме расплывчатых, неясных пятен. Когда я, блуждая верхом по лесу, наскочил ненароком на это место, Наседкин ползал на четвереньках у ног своей лошади, спокойно щипавшей траву, и в поисках очков безуспешно ощупывал землю.

Едва я подал ему очки, он влез на лошадь и погнал ее. Я поднял револьвер, сунул его в карман шинели и поскакал за Наседкиным, но не нашел ни Наседкина, ни Кравеца. Я напрасно кружил по лесу, осматривая каждый куст.

Внезапно за ближними деревьями щелкнул винтовочный выстрел. Я повернул лошадь и двинулся напрямик в направлении звука, с трудом продираясь сквозь густой осинник.

Стволы стали реже, впереди заблестел свет, и я выскочил на небольшую лесную полянку.

Через полянку шел Кравец. Левая рука его была прострелена чуть пониже плеча, правой ладонью он зажимал рану, кровь текла между пальцами и стекала вниз по рукаву. За ним шагал Наседкин, блестя очками и направив штык винтовки ему в спину. Рядом с Наседкиным шла Варя с револьвером в руке. Слезы бежали по ее лицу. Она не вытирала их, они прочертили на ее щеках две дорожки и скапливались на подбородке.

– Иди, иди! – кричала она Кравецу. – Не оглядывайся! Иди!

Увидев меня, она сказала:

– Он вышел из-за елки и просил, чтобы я дала ему уйти. Он говорил: «Пойдем со мной, мы никогда с тобой не расстанемся, ведь ты хотела никогда не расставаться...»

Она рассказывала ровным голосом и даже как-то безразлично, и только все новые и новые слезы катились из глаз и бежали по щекам и подбородку.

– Гляжу, она целится в него, – объяснял мне Наседкин. – А он говорит, говорит и подходит, и я вижу, что он хочет отнять у нее револьвер. Он боялся, что она выстрелит, а я чувствовал, что она не выстрелит, и тогда он убьет ее. И я выстрелил сам.

На полянке между тем появился уже и Воскобойников. Со всех сторон из лесу выбегали бойцы нашего взвода. Они окружили Кравеца плотным кольцом. Он молчал, угрюмо озираясь.

Потом, по приказанию Воскобойникова, несколько бойцов повели его в штаб батальона. Когда его уводили, Варя повернулась к нему спиной. Однако слезы все текли и текли. Мы, оставшиеся, молча на нее смотрели.

– Не смейте жалеть меня! – сказала она.

Обернулась ко мне и прибавила:

– Как ты смеешь меня жалеть!

Но слез она остановить не могла. Она плакала – о нем ли, о своей ли страшной ошибке, не знаю. Она плакала, не стыдясь, ей нечего было стыдиться: тот Лева Кравец, которого она любила, вымышленный, созданный ее воображением, действительно был героем, борцом за правду, потому что она украсила его всем

Варя. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiy Nikolai.ru
богатством своего собственного сердца... Слезы все бежали, и ветер сушил их у нее на щеках, и они набегали снова... Ее обманули. Разве она виновата, что ее обманули? Она была очень молода и верила, что настоящему человеку свойственно быть отважным, прямым, честным, справедливым, и в этом, главном, она не обманулась. И революция была еще молода, и весь мир вокруг был еще очень молод, вся жизнь ее лежала впереди. Ее ожидало еще столько борьбы, труда, радости, боли, побед, любви – всего-всего.

1957 г.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://chukovskiy Nikolai.ru/> Приятного чтения!
<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.
<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!